



СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Сергей Скрипаль
Любовь к разбитым зеркалам
Повесть 15

Олег Воропаев
Не к шубе рукав
Рассказ 65

Александр Мосиенко
Линда
Повесть 99

Виктор Кустов
Рассказы 169



АНТОЛОГИЯ ПОЭЗИИ
СТАВРОПОЛЬЯ

Литературное
Ставрополье

Иван Кашпуров
Стихотворения 3

№4(2021)

ПОЭЗИЯ

Иван Аксёнов
Стихотворения 57

Екатерина Полумискова
Стихотворения 87

Александр Комаров
Стихотворения 159

Поэтическая мозаика
Стихотворения 207



КРАЕВЕДЕНИЕ

Николай Маркелов
Сергей Есенин на Кавказе 217

Главный редактор
Владимир Бутенко

© Правительство
Ставропольского края

ББК 84(2=411.2)64
УДК 821.161.1(470.630)-8
С23

Редакционная коллегия:

**И. Аксенов, Н. Блохин, Е. Гончарова, А. Куприн,
Е. Полумискова, С. Скрипаль, О. Страшкова,
Т. Третьякова-Суханова**

**С23 Литературное Ставрополье. Альманах. —
Ставрополь, 2021 г. — № 4**

Адрес редакции:
355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 78.
Тел.: (8652) 26-31-50.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.



АНТОЛОГИЯ ПОЭЗИИ СТАВРОПОЛЬЯ

ИВАН КАШПУРОВ

Поющая степь

Вы были в осенней степи или не были,
когда, журавлей провожая в полет,
равнина ли щедрая, доброе небо ли
и грустно, и радостно вслед им поет.

А это все так начинается: медленно
холодная тень заогнится вдали,
и солнце тяжелое, иссиня-медное,
встает из-за дымного края земли.

Потом просыпается ветер и с нежностью
туманы разносит по мрачным ярам.
Над степью, пронизанной солнцем и свежестью,
он дует напористо, молод и прям.

На сивых буграх, словно скрипки, неистово
выводят осенний мотив ковыли.
С высокого звука до самого низкого
печаль в поднебесье несут журавли.

Но вот сковородник серебряным голосом
лишь вступит за флейтой полыни, и вдруг —
вся древняя степь, вся — курганная, голая —
былинкой любой отзовется вокруг.

Тут звуки слоятся, дробятся, сплетаются
в какой-то языческий утренний гимн.
Мне кажется, звезды над степью слетаются,
чтоб вторить взволнованно ритмам земным.

Тут ветер каспийский в осенние месяцы
на крыльях широких — и крепок, и смел
десятой симфонией радости мечется,
которой Бетховен создать не успел.

...Я травы певучие бережно трогаю.
Они для меня — словно воздух и хлеб.
А вы потеряли, друзья мои, многое,
ни разу не слушав поющую степь.

1959

Земля поёт

Ветерок, бродяга одичалый,
за село влечет меня не зря:
за селом поля берут начало,
за полями — алая заря.

Я иду в размах рассвета дымный,
всюду мир зеленый восстает,
и земля языческие гимны
солнцу восходящему поет.

Край родной — разлоги, перелески
да орлов замедленный полет...
Как же мне не колдовать над песней,
если тут земля сама поет.

1961



Ставрополье

Я видел Ставрополье на картинах,
в окно вагона, через дым костров...
Лежит оно в равнинах и горбинах,
лежит на стыке четырех ветров.

Здесь голубые облака гороха
и голубой полыни облака,
и за людьми на динамитный грохот,
в степную марь, торопится река.

Здесь мериносы ноги моют в росах,
метелки проса — словно бьют ключи,
и от зари расходятся прокосы,
широкие, прямые, как лучи...

Поля вплотную подступили к селам.
Из сел, в разведку выслав тополя,
сады выходят воинством веселым
и смело наступают на поля.

Ах, Ставрополье, синий край России,
ты — песня эскадронная отцов.
Меня сады, поля твои растили
под птичий грай и перезвон овсов.

Мне открывали даль твои рассветы,
а стрепеты — немая траву...
Куда б меня не заманили ветры —
тебя от сердца я не оторву.

1962



Дорога

Пусть рушится небо и хлещет дождем,
пусть ветры со всех сторон —
дорога работает. Ночью и днем
глухо гудит гудрон.

Дороге и холод, и зной — нипочем,
а скука и лень — незнакомы.
Крутые холмы раздвигая плечом,
стремится она к окоему.

Нарядные «Волги», чумазные «МАЗы»,
моторов натруженный гуд...
И версты, почти незаметно для глаза,
навстречу бегут и бегут.

Движенье, движенье — здесь вечно оно.
люблю я дорогу, как жизнь, —
чтоб ветер крылом трепыхал за спиной
и дико свистел: «Держись!..»

Далекие фары холодным огнем
уперлись на миг в горизонт...
Дорога работает. Ночью и днем
глухо гудит гудрон.

1963

Из детства

Боялся я нечистой силы
и темноты терпеть не мог.
А мама в поле уходила
и дверь входную — на замок.



И мир огромный, разуверив
меня в огромности своей,
сужался сразу до размеров
двух комнат низких и сеней.

Я брал совок и уголь хрупкий
из чрева печки доставал,
и на беленой теплой грубке
свой мир запретный рисовал.

И оживали незаметно
деревья, лошади, гумно...
А солнце лучиком приветным
ко мне царапалось в окно.

Впустить его я был не в силах
и выбежать к нему не мог.
Нас дверь глухая разделила
и хитрый — гирькою — замок.

Тут, заскучав, наверно, солнце
садилось в дымчатой дали.
А сумерки через оконца
утрюмо в комнаты ползли.

И я серьезнел сразу. Игры
ко мне на ум не шли уже.
Страх выпускал противно иглы,
ежом ворочаясь в душе.



Я весь был — слух.
И каждый шорох
я всеми чувствами ловил.
А мрак сплошной — мой враг матерый —
со всех сторон меня давил.

Но приходила мать с работы,
вздывала свет, звала меня
и нежно спрашивала: «Что ж ты
сидишь весь вечер без огня?..

Тебе, сынок, наверно, страшно?..»
Но страх пропал — простыл и след.
Я сам себе казался старше
и отвечал солидно: «Нет...»

А мать, лучась счастливым светом,
моих касалась жарких щек,
и пахли руки степью, летом
и чем-то ласковым еще.

О, как давно все это было!
Растаял в далях детский лик.
Я не боюсь нечистой силы,
но к мраку все же не привык.



Осколок мины

Я поднимался в гору — мимо
сердито вздыбившихся скал,
и вдруг большой осколок мины
с тропюю рядом увидал.

Лежал он в осыпи, промытой
дождями, талою водой,
и был не ржавчиной покрытый,
а чьей-то кровью молодой.

Его края не затупила
годов утекшая вода.
Но силы взрывчатой тротила
лишился он и — навсегда.

И вот — кусок металла ржавый.
Ничуть не страшный, просто — лом.
Но помню я, как тут дрожала
земля от взрывов мин и бомб.

Шальной металл — он бил, увечил
и в прах живое превращал.
И я осколок бросил в речку,
чтоб он прохожих не смущал.

1978



Хутор Извещательный

Люд здесь уважительный,
в каждом деле тщательный.
Только долгожителей
нету в Извещательном.
Годы беспокойные
в памяти — затесами.
Не однажды войнами
здесь двory прочесаны.
В гору Недреманную
двести лет врастающий,
хутор в даль туманную
смотрит неморгающе.
За рубеж ответчиком
был он — вспомнить дорого,
— извецал Отечество
о движеньях ворога.
Край чужой, немереный
с-под руки разглядывал
и не раз намеренья
недругов разгадывал.
Не кичился верностью,
не сгибался в горести.
В схватках брал он дерзостью,
не скрывая гордости.
Хутор, с основания
крепко обустроенный,
он хранит название,
словно знамя — воины...
Люд здесь уважительный,
в каждом деле тщательный.
Только долгожителей
нету в Извещательном.



Песнь о друге

Эти строки о друге детства,
эту грустную песнь о жизни,
о короткой, как выстрел, жизни
я пишу через двадцать лет.

Чтоб отнять у забвенья друга,
чтоб вернуть его имя людям, —
я на бой вызываю время
и слагаю вот эту песнь.

Помоги мне, притихший хутор,
ты же помнишь, наверно, Митю,
Коваленкова Митю помнишь,
что Даниловичем не стал?

Здесь о нем говорят ракиты
и прогретая солнцем речка,
здесь о нем распевают ветры...
А вот люди молчат о нем.

А вот люди о нем забыли.
Потому что добро творивших
иногда забывают чаще,
чаще, чем сотворивших зло.

Над разливом застыло солнце.
Жаром пышут земля и небо.
Разомлевший от зноя хутор
словно вымер или заснул.

Я хожу мимо хат саманных, —
лебедю зарос проулок,
и хохлатки, в пыли купаясь,
равнодушно следят за мной.

Здесь все те же дворы, что были,
и мосток через речку тот же.
Только ниже заборы стали
до столбы мимо хат прошли.

В этот хутор, степной и сонный,
к нам спешила полями юность.
Но за темной Терновой балкой
вдруг настигла ее война.

В нивах замерли крылья жнеек,
трактора и комбайны стали,
и в тоскливой тиши прокосов
слышен хутора горький шум.



Знаю, время придет

Знаю, время придет, как под корень подрубит, —
никакие уж снадобья тут не спасут.
Пусть возьмут меня ветры на теплые руки
и в родные поля до зари отнесут.

Там ковыльный курган — я улягусь на склоне,
рыжий месяц у ног примостится лисой.
Окружат меня травы гурьбою зеленой,
напят из пахучих ладошек росой.

Убаюкан родимой землею, недужный,
я засну под рассветные песни пичуг,
и, как в детстве, сокрытом в тумане жемчужном,
замирая от страха, во сне полечу.

Поздним утром я встану с высокой постели,
ощущая певучее солнце в крови,
и в станицу вернусь, от бессмертников хмелен, —
на щеке отпечаток примятых травин.

1969

О, как бесчинствовали вьюги

О, как бесчинствовали вьюги
под властью лютой февраля!
Горбы сугробов, словно вьюки,
несла безропотно земля.

Земля под тяжестью качалась —
петляла трудная тропа.
Метель, как время, не кончалась,
самовлюбленна и груба.

Крутой мороз, поправши право,
в границах марта стужу длил.
Но солнца свет, прямой, как правда,
весну отвагой наделил.

Она лучами, что ломами,
долбит снега, громов полна,
и льды ломает — льды ломает
вольнлюбивая волна.

Волна швыряет в берег крыги,
вздымает бакенов огни,
и полный ветер, словно книги,
листает пламенные дни.

Земля залечивает травмы.
Весны владения пестры:
кругом — поля, луга и травы,
да вишен белые костры.

1962



Любовь к разбитым зеркалам

Ещё перед призывом в армию появился у меня друг.

Осип уже тогда был глубоко пожилым человеком. Осе было за тридцать. Познакомились мы тривиально. Поздно вечером двое хулиганов били Осипа прямо у его подъезда. И прямо по лицу. Ося закричал: "Помогите!". И я помог. Просто побежал на крик. Хулиганы отступились от Осипа. Унесли его куртку. Осип пригласил отметить спасение.

Мы сидели на маленькой кухне в кирпичной девятиэтажке. Пили портвейн «777» – "Три топора" и беседовали. Странно, у меня, юного, и у пожилого человека нашлись общие интересы.

На стене кухни висела большая политическая карта мира. Позже, когда я навещал Осипа, мы снова пили портвейн. Иногда всё те же "топоры", чуть реже "Кавказ", белый или розовый. Бывало, и с "Лучистым" коротали вечерок.

Закусывали всегда однооб-



**СЕРГЕЙ
СКРИПАЛЬ**

Проза



разно. Ося доставал из холодильника большую миску. В ней картошка в мундире и яйца вкрутую. В зависимости от каприза резались крупно либо колбаса, либо сало, либо селёдка. Под портвейн великолепная закуска.

Мы водили пальцами по карте и мечтали, как страны СЭВ, одна за другой, примкнут республиками к мощному телу СССР. Сначала Болгария, потом остальные. Тогда и капиталистам ничего не останется, как сложить оружие, задуматься о светлых перспективах коммунизма и (логично же) на правах республик войти в состав Советского Союза!

О внеземных цивилизациях мы не успели подумать, поскольку мне пришлось пытаться присоединить к СССР Афганистан. Безуспешно.

Через два года с бутылкой портвейна я позвонил в дверь Осиной квартиры. Открыла женщина. Как оказалось, бывшая жена Осипа. Я и не знал, что Ося был женат.

Она сообщила, что "этот мерзавец" уехал в Израиль. Я понимал, что Ося не в поисках лучшей доли укатил, а чтобы, во-первых, усмирить военщину, во-вторых, загасить палестинский конфликт, и в-третьих, самое главное, убедить евреев примкнуть к СССР!

Осю я больше не встречал. Думаю, у него тоже ничего не вышло.

Жил у нас во дворе, в соседнем доме, дядя Петя. Фронтовик. Инвалид.

В ту пору их ещё много было: безногих и безруких, опалённых и неприкаянных, цепляющихся за жизнь и совсем опустившихся.



Дядя Петя точил ножи. Ездил по городу на деревянной тачке с наждаком за спиной. Ловко наводил ножи, ножницы, топоры и прочее.

Мы никогда не видели его пьяным. Чуть "припудренным" – да, каждый день. Однако дело такое, иногда вместо копеечки хозяйка чарку подносила.

Дядя Петя в таких случаях отставлял точило в сторону, просил полить ему на руки водой, тряпичей насухо вытирал руки, выпивал стопку, закусывал чем предлагали: огурцом, кусочком колбасы с хлебом, хвостиком селёдки, благодарил и вновь принимался за дело, если были заказчики, если нет – прилаживал за спину станок, упирался в землю деревянными утюжками и ехал в другой двор.

Дядя Петя был аккуратен. Заштопанная, чистая, отутюженная гимнастёрка или, по погоде, вычищенная порыжевшая укороченная "шинелка", пилотка без звезды (кому-то из пацанов давно подарил) или тоже порыжевшая солдатская шапка.

Мы крутились возле дяди Пети, если был во дворе и не занят. Он учил нас разводить костры с одной спички, различать голоса птиц, показывая голосом, читать следы животных, рисуя прутиком или пальцем в пыли. Да много чего узнали от него.

А потом дяди Пети не стало. Зимой не удержался на скользком спуске и угодил в озёрную полынью.

Кажется, весь город в тот день был в нашем дворе. Пахло снегом и горем.

На подушке, в ситцевой в цветочек наволочке – медали и два ордена Красной звезды.

Ещё долго при разногласиях решающую роль для мальчишек играли слова:



– А дядя Петя так говорил!

И споры стихали.

Я и сейчас вспоминаю дядю Петю, оцениваю свои поступки с его точки зрения. Размышляю, а смогли ли мы, вернувшиеся с другой войны, стать хоть чуточку такими, как наш сосед из детства?

Казалось бы, обыкновенный наполеон. Не совсем обыкновенный, если честно. Вкусный, конечно, мякоть, сочный и сладкий. Что самое важное – домашний! В общем, в самый раз на завтрак: кофе и кусок торта. С детства люблю.

Старшине, прапорщику Губенко, никогда не прощу жестокости. Не ко мне, нет, к наполеону.

В общем, привезли нас в воинскую часть. Это после недели путешествия из Ставрополя в Черняховск под Калининградом. На сборном пункте трое суток, затем в вагоне. Еды полно было. Разной. Выпивали, закусывали разносолами домашними. Чего только не было. Паёк армейский, выданный в дорогу, щедро раздавали щедрым проводницам в довесок к червонцу за поллитру.

В моем личном сидоре, да как и у всех, оставалось ещё много вкусностей, в том числе и нетронутый наполеон. Как-то закуской он не особо бы пошёл.

– Ерунда! – думал, – Зато первый завтрак в армии под тортик у нас с пацанами будет!

Не сложилось.

Полк. Плац. Построение. Огромный костёр. Продукты, летящие в огонь. И мой тортик после приказа прапорщика Губенко неловко брошенный моей рукой в огонь. Как обидно было.

Суровая правда жизни.



Начальником учебного центра был подполковник К. Крупный дядька, под два метра ростом, статный, всегда гладко выбритый, излучающий оптимизм и здоровье. Бытовала байка, будто однажды он легко уложил троих мужиков впечатляющей наружности в одном из питейных заведений города Ч. Охотно верилось, поскольку К. любил заявиться в спортгородок, поотжиматься вместе с солдатским людом, покрасоваться на перекладине, вызвать на единоборство кого-то одного, войти в раж после победы, вытащить ещё пару, а то и тройку желающих, и рубиться с ними. Иногда в полную силу, если на "татами" оказывались боксёры или борцы, или просто утрюмые качки. Зрелище ещё то!

И всё же была у него слабость. Странная какая-то. Любил он, чтобы по-домашнему как-то было. В смысле интерьерчика. Его странность всё же не касалась всего расположения учебки, столовой или ротных помещений. Всю свою любовь к изыскам он вложил в штаб, вернее, только во второй этаж, где располагался его кабинет. Ну, всякие там кашпо на стенах с растениями в горшочках, занавесочки патриотичного голубого цвета с вензелями и эмблемами рода войск, ламбрекены, кисти и банты. Широкий и довольно длинный коридор застелен дорожкой из ковροлина. Это покрытие имело длинный и плотный ворс голубого же цвета с серебристым отливом. С обратной стороны – что-то вроде подкладки белого цвета.

Кто служил, тот в курсе, что ЭТО значит! Как это очистить от грязи, натасканной подошвами. Особенно резвились офицеры после полевых

выходов, прибывая к командиру на доклад. Эх, мама моя, как же мне повезло, что был я в таком наряде только единойды. Делал всё, чтобы попасть в караул на самый дальний пост.

Однажды случилась ПРОВЕРКА! Из округа прибыла. Главный полковник. Это ж что за человечище! Я со своим метр девяносто просто голову вверх задираю до ломоты в затылке, пожирая начальство глазами, когда оно проходило вдоль строя с вопросами. Ага... Никак нет!

Да даже наш подполковник К. задираю головёнку при общении с проверяющим.

Вечером взводный послал меня в штаб зачем-то. Благо, я успел вжаться в расщелину между скворечником дежурного по учебке и входной дверью.

Что произошло на другом этаже – не видел, но слышал очень хорошо.

Размашистым шагом летел проверяющий, за ним наш подполковник К., далее свита. Урчал спокойным басом полковник, видать, доволен остался проверкой или в предвкушении того, что ждало после. Я уж собрался выскальзывать из штаба от греха подальше. И тут...

– Ах ты ж ...!

Я даже представил, как грязный носок сапожища полковника цепляет голубенький декор на полу.

Потом задрожали стены от дробного топотания, ну, так бывает, когда человек пытается удержаться, не упасть. Всё тщетно. Бабах... Уложился полковник плашмя. Потом поток слов, с явным преобладанием звонких согласных...

Буквально через пять минут коврового покрытия не стало. Потом оно не проявилось нигде.



Хотя, слышал, вроде как дембеля на погоны растащили. Врать не буду. Не видел.

И всякие ламбрекены с бантами исчезли. Строгость в дизайне осталась. Холодная и армейская!

Как говаривал наш старшина Губенко: "Солдат - не смородина, его и без сахара употребить можно!" В целом, старший прапорщик был милейший человек, в меру пьющий и почти не ворующий.

Да, чуть не забыл. Он интеллигентно пользовался матерными словами. Мягко так. Не обидно.

В семейных архивах есть фото папы во время службы в армии. Снимок постановочный, делался для окружной многотиражки: "Мл. сержант Владимир Скрипаль во время полковых стрельб поразил все мишени из пулемёта. Тов. Скрипаль – отличник боевой и политической подготовки..."

Папа отдыхал в Прибалтике, когда я принимал присягу, ну и, конечно, приехал в часть.

Как и многим родителям, ему провели экскурсию по расположению учебного центра, батальона, показали и свеженький ротный "Боевой листок", где было написано, в частности, и о том, что "рядовой Сергей Скрипаль во время полковых стрельб поразил все мишени из пулемёта..."

Я был горд. Папа – тоже.

Будучи молодым солдатом, от большого ума, не иначе, обвёл авторучкой в комсомольском билете дату предполагаемой демобилизации. Ноябрь

1981 года. Обвёл и обвёл, подумаешь. Забыл об этом в суете курса молодого бойца: кроссах, маршировках, стрельбах и прочих нарядах.

Секретарь батальонной ячейки собрал билеты, чтобы проштамповать оплату взноса в сумме 0,02 руб. Бдительный оказался лейтенант, углядел мою рукопись. Доложил.

Ой, что было, что было! Комсомольское собрание батальона. С привлечением коммунистов. А как же! Замполит полка даже явился.

Заклеймили меня. Аж уши горели. Выговор с занесением впаяли. Чтобы осознал, так сказать. Чтобы другим неповадно было!

В декабре шум, гам, та-ра-рам, в Афганистан отправили. Уже с полгода прошло, как новый замполит меня к себе в палатку потянул. Чего это я, паразит, не доложил о комсомольском взыскании. Честно признаюсь, что и забыл о нём, не до этого как-то. Рассказал, что и как было.

Сплюнул майор Дубов, в сердцах прямо-таки сплюнул, и слово какое-то вырвалось у него, очень похожее на «чудаки».

А выговор он с меня снял ближе к ноябрю 81-го. Пояснил, мало ли куда поступать или устраиваться буду, а тут такое пятно на биографии!

Едем на «шишиге» по грунтовой дороге. Справа за арыком хилая «зелёнка». Пожухлый камыш. Оттуда бахнуло. Перед головным БТРом вспухает разрыв.

Скатываемся с борта в кювет. Та-да-дах, та-да-дах... Бьём из автоматов в камыши.

– Отбой! – кто-то хрипло орёт.



По каске стучит костяшками пальцев взводный:
– Куда стрелял, военный?
– Ту... туда! – дрогнул голосом.
– Видел кого-нибудь? – спрашивает старлей и уточняет, – в кого стрелял?
– Не-а... – растерянно отвечаю. – Не видел.
– Сколько патронов ушло?
Отстёгиваю магазин, с удивлением отмечаю – пустой.
Первый выезд «на войну». Кандагар. Январь 80-го.

Если вы думаете, что в Афганистане мы питались однообразно, невкусно и иногда впроголодь, то будете, конечно, правы. Но иногда...

Февраль 80-го.

На дальней заставе ночью сильно грохнуло, потом, как водится, пулемёт для порядка жажнул, автоматы слегка пошумели. И снова тишина. Где-то через час пришёл Мишка, горделиво шумел в темноте, громко сопел, скинул на дощатый пол "избушки" нечто твёрдо-мягкое, пахнущее кровью и мясом.

Можно было изmaterить Мишку, в конце концов швырнуть в него хотя бы сапог или ремень, но мы-то знали, что наш Мишка, маленький рыжий хохол, никогда бы не позволил себе, без собой на то причины, вот так вести себя.

В общем, Мишка приволок с дальней заставы, где бахнул взрыв, ногу. Верблюжью. А нечего духовскому животному бродить там, где не положено.

Нога замечательна во всех отношениях. Взводный только покосился на добытчика, мол, какого

хрена он был на заставе.

Мишка молча хлопал белесыми ресницами, обдирал шкуру с ноги, рубил мясо на части вместе с мощной костью.

Что он собирался готовить, мы узнали из его отрывистой речи: "Будэ холодное, як мамо варит!". Это он отгонял от котла доброхотов-гурманов, предлагающих кто борща из верблюжатинки, кто рагу, кто, извините, пельменей налепить.

Решать добытчику!

Всю ночь мясо кипело на костре. Мишка добавлял лук, морковь, ещё что-то, затем ещё.

Беспокойная выдалась ночка. Голодные собаки и бойцы бродили поодиночке, изображая полную незаинтересованность происходящим.

Уж, конечно, нам, близким друзьям Мишки, было точно безразлично, поскольку горячий хаш, с добавлением картошки, настраивает на равно- и добродушие.

Сытые и довольные, мы уснули. Поздно утром Мишка разложил по алюминиевым мискам волокна белёсого мяса и залил бульоном.

К вечеру "холодное, як у мамы" было готово. Повеселели все: и командование, и рядовой состав. Только собаки возмущённо повизгивали, облизывая чистенькие, без клочков мяса, верблюжьки кости.

Вы знаете, что такое вшивничек? Нет, вы не знаете, что такое вшивничек! Мало кто знает, что такое вшивничек. И я не знал, что обыкновенная шерстяная безрукавка и есть вшивничек.



А вот в первую афганскую зиму я узнал, что не такая уж и жаркая страна Афганистан, а уж южный город Кандагар никак не сравнится с Ташкентом по зимнему климату, поскольку там промозгло, сыро, ветрено и морозно.

И еще я узнал, что вшивничек – это такая штука, которая может сохранить как минимум здоровье, а как максимум – жизнь.

В первую зиму афганской войны у меня был вшивничек ярко-красного, дерзкого цвета. Раздражал старшину и замполита. Но мы с вшивничком умело сливались с окружающей обстановкой. Дожили до ноября восемьдесят первого года.

Потом я вернулся к гражданской жизни, а вшивничек продолжил военную карьеру, поскольку был передан мной подростшему поколению солдат.

В юности не любил помидоры в собственном соку. В самом деле, где крепость плода, где ядрённость засолки, где аромат разнотравий и приправ?! Где? Вот именно вас спрашиваю, где?! То-то же. Нет. Поэтому с большой неохотой их кушал, когда родители к ужину баночку открывали. М-да...

Наш взводный осенью 80-го года вернулся из отпуска. Ясное дело, понавёз всякого там, в том числе и соленья-варенья.

Вечером ужин сделали праздничный. Старлей отличный парень, чего ж не уважить. Да и плохо без него. Чужой лейтенант тоже неплохой, но свой-то роднее. И в горах с ним спокойнее. В Афгане это важно было.

В общем, картошки поджарили. Итальянских овощных консервов поставили на стол. Тортик из

галет и сгущёнки сотворили.

Позвали старшего лейтенанта. Ему приятно было. Мы видели.

Николаич (взводный) торбу принёс, тоже на стол банки с огурцами, помидорами, салатами вывалил, колбасу копчёную, сальце с прожилкой, что-то ещё. И бутылку водки. За встречу и возвращение. Гхм...

Выпили по глотку из кружек и глазами по столу, чем закусить, шарим.

Ухватил я взглядом помидорку в миске, хватать её... А она мякотькая, соченькая, как раз то, что нужно. Эх, красота! И дом сразу вспомнился, и потеплело на душе.

С тех пор люблю, знаете ли, помидоры в собственном соку. Вкусно!

Всякий раз, когда пользуюсь старым армейским котелком, вспоминаю однополчанина Сержика. Парня призвали из какого-то глухого армянского села. С русским языком беда у него, однако Сержик старался и довольно быстро овладел разговорной речью.

Был он на год младше призывом, дедовщины безумной и беспредельной в полку не было. Так, на уровне принеси-подай, не более того. Но всё же каждый знал своё место, и никто не борзел.

Однажды собирались в "командировку", по моему, в Шинданд. Не важно, куда. У палатки народ сопит, набивает вещмешки разной всячиной, магазины патронами и прочее.

Слышу, Сержик зовёт:

– Сержант!



Нашёл его взглядом. Немного растерянным голосом парень продолжает:

– Быстро палажи мынэ...катэлок... суда! – показывает лицом на свои руки.

Понимаю, что Сержик малость запутался в лексике.

– Воин, так что сделать? – сурово переспрашиваю.

Сержик взмахивает густыми чёрными ресницами, блестит чёрными же глубокими глазами, никнет тёмным лицом, но упорно повторяет, при этом на всякий случай добавляя "волшебное" слово:

– Пажалыста, быстра палажи... катэлок... суда, – снова показывает на грудь.

Из кучи вещей беру котелок, подхожу к Сержику:

– Ну, на! – тыкаю котелком в грудь.

Сержик вдруг широко улыбается и под хохот пацанов с облегчением произносит:

– Вай, вспомнил! Брось, пажалыста! – тычет котелком себя в грудь. – Суда!

Ей Богу, для чего военному зеркало? Вроде как-то и неприлично, что ли. В самом деле, весь из себя в хаки, боеприпасы, даже автомат имеется. И на тебе, зеркало!

С другой стороны, если взглянуть, как без него, к примеру, побриться. Можно, конечно, на ощупь. Так себе получится, не очень чисто, что будет раздражать и тебя, и начальство в расположении части. Выходит, зеркало нужно иметь. Не в кармане, разумеется.



У нас в избушке, которую мы построили ещё прошлым летом из бомботары и ящичков для нурсов и довольно успешно пережили афганскую зиму, было зеркало.

Изначально оно было довольно большое. Кто-то из парней стянул его "под шум волны" во время переезда штаба соседнего полка из палатки в деревянный модуль. Специально вызвался помочь сознательный боец, заметив полуразобранный одёжный шкаф с зеркалом на внутренней стороне двери.

Бриться теперь можно было с комфортом, стоя. Заодно и свой внешний вид осмотреть.

Однажды зеркало упало. Неаккуратно с ним обошлись. Вернулись с гор раздражённые, кто-то швырнул в сердцах подсумок и в зеркало угодил. Бывает.

Оно обрушилось на пол разновеликими осколками. Выбрали самый большой и широкий, этакую карикатурную саблю, закрепили гвоздями-сотками по краям да ещё и загнули для надёжности. Нормально. Фрагменты поверхности для бритья видны и хорошо. Только теперь сидя надо было бриться. Да и ладно.

Однажды бреюсь. Согнулся перед зеркалом, лень за табуретом идти. Осталось-то чуть совсем под носом выбрить, ближе к осколку потянулся, не видно ж ничего, сумерки утренние.

Вдруг за стеной как бахнуло. Вжжжжыыых... Шшуууухххх... Трррресь... Это стену домика насквозь пробило. Над моей головой что-то прошшипело. О другую стену ударило и упало на пол, подпрыгнуло несколько раз.

Выпрямился я, глазом приник к дырке, что и



как там, на улице, узнать. И понял, что аккурат в лоб бы железка прилетела, если бы в рост стоял.

С тех пор зеркала уважаю и никого никогда не осуждаю, если зеркало разбил. В конце концов не специально же человек старался.

Ах, да, тогда за нашей избушкой мина рванула. И как её духи до нас докинули? Никогда такого не было. Ни до, ни после.

Кто помнит или знает, что такое "нурсики"? Да многие, конечно, кто хоть как-то сталкивался с войной в Афганистане. Для тех, кто не в курсе, "нурсик" – это всего-навсего колпачок от НУРСа (неуправляемого реактивного снаряда). Очень удобная тара, чтобы, например, хлопнуть из неё шильца (технического спирта, слитого из авиатехники) или, совсем уж по-мажористому, водочки "Столичной", или местного "шаропа", который мусульмане, несмотря на жёсткие запреты, гнали-таки для Ограниченного Контингента и успешно продавали.

Так вот, о "нурсиках". В гараже недавно обнаружил в ящике с инструментом две такие "чашечки", ёмкостью в 75 мл. Привёз их на память аж в 1981 году из Кандагара. Вот и лежали, теперь уже музейные экспонаты, ждали, пока не вспомню байку, связанную с ними. Кто-то слышал её, кто-то помнит, но перескажу.

Как-то раз на одном из афганских базаров, то ли в Кандагаре, то ли в Кабуле, а, может быть, даже совсем наоборот, где-то в Баграме, Кундузе или в Газни, неважно, появилась пара храбрых прапорщиков. Ходили ребята с озабоченными лицами,



приставали к торговцам, мол, нет ли у тех срочно необходимых, жизненно важных "нурсиков", без которых не жить, а если жить, то просто прозябать, грустно и бездарно существовать. "Нет!" - сокрушались афганские торговцы. Сами уже сожалели, что такого важного товара не имеется в наличии, на всякий случай запоминая новое слово. "Ну, на нет и суда нет!" – вздыхали прапорщики. Побродили ещё по торговым лоткам и ушли разочарованные.

Через пару дней на тот же рынок зашли солдаты-шурави. Подошли к лавке самого старого и мудрого торговца с длинной седой бородой. Воровато поозирались и почти шёпотом поинтересовались, не нужны ли случайно уважаемому аксакалу "нурсики"? Мало ли, дело такое, что и в хозяйстве пригодиться может. Дед заинтересовался, но виду не показал, лениво кивнул – доставайте товар! Один из парней осторожно вынул из-за пазухи стопку из десятка "нурсиков". Старик пощупал их, даже понюхал, всё же не смог скрыть удивления, зачем этим глупым "шурави" пластмассовые чашечки?!

– Ладно, возьму! Чан афгани? (Сколько стоит?)

Немного поспорили насчёт цены покупатель с продавцами, поупирались, даже расходились друг от друга, но возвращались, старались не привлекать внимания базара к торгу. Всё же сговорились. По рублю за штуку, по курсу афганской валюты.

Понятное дело, что через какое-то время появились на рынке те самые озабоченные поиском прапорщики. Опять ищут "нурсики". Слышал все и видел старый мудрый аксакал, ждал в свои тенета алчущих шурави. А вот и они на пороге его лавки, безнадежно шарят глазами по прилавку и



уже уходить хотят, дежурно спросив, есть ли "нурсики".

Торговец важно кашлянул в кулак и молча показал на открытых ладонях сокровище. "Нурсики! – прапорщики аж задохнулись от счастья. – Отец, продай! Сколько стоит? (Чан афгани?)"

Не уступил ни афгани старик, стоял на своём, мол, три рубля и точка! Махнули рукой прапорщики. А что делать-то? Вещь давно искомая, нужная, как же без нее! Взяли все десять штук. Попросили только, если появится еще такой товар, никому не отдавать, они сами скоро приедут на рынок. Через недельку вновь заглянули на рынок солдаты, сговорились быстро с аксакалом и продали ему уже два ящика "нурсиков" по той же цене, по рублю за штуку. Ещё через время прапорщики успешно перекупили по трёшке запасы торговца.

Где-то через месяц, после торговли мелким оптом, купил-таки торговец целых два КамАЗа "нурсиков"...

Говорят, что даже жаловался потом в советское посольство, где ничем не смогли помочь. Выносил вопрос на совет старейшин, который постановил, что люди, сумевшие нагреть азиатского продавца, достойны глубокого уважения!

А я вот не додумался продать "нурсики", всего лишь привез их на память!

Вова, хороший парень, добрый, юморной. Выпить любил только. Каждый день готов был не просто, а даже зло. Употреблять, в смысле. Где он брал выпивку, никто не знал. Дело-то на службе было. На срочной. Да ещё и в Афганистане.

Не дебоширил, не активничал Вова, просто бродил между палаток, бормотал песню длинную, веселую (наверное), сам же и хохотал над ней.

Патруль его взял. Чужой. Артиллеристы. Не знали они, видимо, о такой милой привычке Вовы - выпить и мирно бродить. Свои-то на него через полтора года и внимания не обращали, а пушкари-зануды обратили.

Прапорщик, старший патруля, отдавая мне тело товарища (за десять банок тушенки), ворчал и головой покачивал почти восхищенно: "У вас все такие борзые? Чуть что – я пожалуюсь Члену Военного Совета!"

Ветер – это всегда тревожно.

И даже чёрт с ними, с песчинками, мелкой пудрой забивающимися под хэбэ, разъедающими плоть вместе с тяжёлым потом.

И даже плевать, что прицельность теряется – с той стороны в тебя тоже труднее угодить.

И даже снежная круговерть в горах, конечно, неприятная, но ветер маскирует, хоть и сбивает с ног, с пути.

В полку ветер – тоска. Чем сильнее ветер, тем больше хочется бросить всё и вернуться домой.

Там ветер другой. С гор, с Кубани, из степи, пахнущей полынью.

Второй афганский новый год веселее прошёл. Дежурный старлей придумал викторину. Мы сидели и думали над вопросами. Отвечали или задавали их сами. Призы были шикарными:



несколько банок тушенки и сгущенки, коробочки сока "си-си", упаковки "батовских" югославских леденцов (сок и конфеты из "Берёзки" между прочим), пара модных пластиковых коричневых магазинов для "Калаша" (а то как дураки пользовались обычными чёрными железными), и венцом награды могли стать молдавские сигареты "Флуераш" в твёрдой пачке цвета пьяной вишни с белым графическим изображением двух мужиков, играющих на дудках под деревом. О, да! Я хотел этот приз, и я его получил!

Вопросы викторины, придуманной молодым офицером, конечно и безусловно, касались армейского быта. Загадки типа "толстая солдатская книга" осмеивались, но кто-то всё же успевал ляпнуть: "Устав!" и счастливым уносил в лапах банку гречки с говядиной.

Подобрались к главному призу. Молчание. Исчерпались вопросы. Алчность выбросила мою руку вверх. Старший лейтенант пригласил: "Давай!".

И я дал... Откуда это знание осело в голове, кто знает:

– Деталь автомата. 7 букв. На "а" начинается, на "а" заканчивается!

Хорошие сигареты "Флуераш"!

Да, кстати, а вы знаете такую деталь автомата? Антабка называется.

Как говаривал наш замполит, товарищ майор Дубов:

– Вот ты, боец, сейчас мимо урны плюнул, а завтра человека убьешь!

И ведь иногда сбывалось.

Жахнуло тогда аккуратно в полпятого утра. Вот только дату подзабыл, то ли 12, то ли 20 августа. В 80-м году в Кандагаре. Склад артвооружения рванул. По всему огромному аэродрому разлетались осколки и куски бомб, расщепленные и мятые трубки НУРСов и прочих ракет, слипшиеся пачки патронов разных калибров. Несколько МИ-8 факелами горели на стояночных площадках. Странно, что в суматохе успели из эпицентра выкатить МИГи.

Горело и бахало почти до вечера. По слухам, никто не погиб.

Бессонница. Зачем вспомнил об этом?

Лежу на горячей земле. Пыль раскаленная, а не почва. Тень небольшая от нависающего скального обломка. Камень тоже раскалён, но есть иллюзия прохлады, когда порыв ветра возмущает кислую рыжую плотность воздуха. Наблюдаю за муравьём. Он огромен. С полспички длиной. Таких дома не видел.

Тонкими, длинными, мощными ногами насекомое упирается в песок, оставляя заметные следы, тащит на загривке дохлого каракурта.

– Везёт ему! – тоскливо думаю. – Сейчас домой придёт, там мама с папой, а может и девушка любимая. Или жена... – уже в полудрёме слезу и почти уплываю в сон, на всякий случай нащупываю автомат под правым боком.

– Серый! – вырывает из полусна голос Сани. – Пожри. Скоро выдвигаемся. Вечереет.

Банка тушёнки летит точно на муравья, перере-



зает его толстым рантом.

– Не хочу быть муравьём! – сбрасываю с себя липкую дурноту. Тянусь за банкой. Действительно, надо позреть, ночной переход долгий. Да и вообще, мало ли что.

Афганистан. Где-то под Кандагаром. Август 1980 года.

Прилетел из Кандагара в Ашхабад. Хм, не совсем из Кандагара. Из Шинданда. Не совсем из Шинданда. Короче, из Кандагара на Шинданд, из Шинданда в Ташкент, из Ташкента в Красноводск, из Красноводска в Ашхабад. Ффуууххх... Я и говорил вначале, что прилетел из Кандагара в Ашхабад. За полсуток. Вот!

Из Кандагара часов в десять утра вылетел, а в Ашхабаде оказался тоже около десяти, но вечера. Где искать 1-й городок, не знаю. Впервые в Ашхабаде. Нашёл коменданта, тот мне подсказал.

Около полуночи добрался. Кушать хотелось. Так и доложил дежурному по части, тот меня в столовую направил. А там сонный повар как узнал, что я «из-за речки» прибыл, так и выставил миску картошечки под укропчиком, банку сайры в масле, огурчики и помидорчики.

Ему интересно, спрашивает, как и что там, на войне.

- Голодновато немного, - бормочу в ответ сытым полусонным голосом.

Человек привыкает ко всему. И довольно быстро. К войне, в том числе.

Колонна идёт по большому кишлаку. БТР уверенно раздвигает бронированными плечами толпу. «Урал» и «шишига» проворно следуют за ним. Глазеет по сторонам.

Серо вокруг. Люди, одежда, дувалы – всё пыльное. Только лютое солнце плавит воздух, горы разноцветных специй на прилавках и яркие фрукты-овощи радуют глаз.

Прямо по курсу взрыв. Фугас сработал. Но гораздо раньше, чем мы подъехали к нему.

Мир наполняется криками, стонами, автоматными очередями. Редкими, но злыми. По нам бьют из мясной лавки.

Колонна не останавливается, даже не замедляет ход. Пара выстрелов из БТР крупным калибром моментально убеждает нападающих в полной бесполезности акции.

Спрыгнули, осмотрели лавку – никого. Что и следовало ожидать. На рынке затеряться легко, тем более, когда вокруг сочувствующие.

Прошло минут десять после взрыва. Убитых и раненых куда-то утащили. Снова мирный говор, споры торговцев с покупателями. Нас словно нет, растворились в жарком мареве.

Сердце тоже утихомирилось. Снова вокруг серость, только пыль более въедлива, взрыв разбросал взвесь специй. Приятно-щекотно в носу и на губах.

Такое послевкусие миновавшей смерти.

Боли не надо бояться. Боль нужно уважать!
Тогда возможно почти комфортное существование.

80-й год. Ташкент. 340-й военный госпиталь.



Хирургия.

Хирургию тоже очень уважаю: к исцелению через боль. Боль хирургическая бело-стального цвета. Это я точно знаю. И ещё она мгновенная и безжалостная. Все ее стремления - принести облегчение и выздоровление с одним условием - через боль. И это у неё превосходно получается.

Уже когда был в выздоравливающей команде, сразу после побудки уходил гулять в старый парк. Он там большой был. Вообще, госпиталь напоминал чем-то этакий довоенный пионерский лагерь: одно- и двухэтажные корпуса отделений были раскиданы между огромными деревьями, соединялись между собой аккуратными асфальтовыми дорожками. Только не было пионеров. Зато были морг, хирургическое, ортопедическое и другие отделения, и приемный покой, куда по ночам (именно по ночам) приезжали санитарные машины в большом количестве. Привозили раненых и умерших с военного Тузельского аэродрома, где принимались самолёты из Афганистана.

Да, так вот, гулять я выходил не просто для того, чтобы сигаретку выкурить в ожидании завтрака, а с иной целью.

С неделю назад услышал что-то вроде:

*– Нетав сад арис кидев ца,
Удзирод лурджи халаси
Сцоред исети рогорц шениа,
Наиареви тцарсули,
Нангреви нарикаласи,
Чазарасавит шемогрчениа.*

*Тбилисо, мзис да вардебис мхарео,
Ушенод сицоцхлец ар минда,
Сад арис схваган ахали варази,
Сад арис чагара мтатцминда!*

Ну, и так далее, певец из меня ещё тот. А пелито, пели как! Многоголосьем. Грузинским! "Тбилисо"!

Это было потрясающе.

Я познакомился с парнями. Три грузина, солдаты срочной службы, строили что-то. Уж не знаю, как они строили, но пели они постоянно. Конечно, акапелла. Вот пока бетон вымешивали – пели, кирпич носили – тоже пели, делали кладку – снова пели. Только на перекуре, на обеде и, думаю, во время сна не пели. А так пели всегда. Здорово пели. Часто народ собирался послушать их. Песен было очень много. Однако песню о Тбилиси пели только рано утром. Один раз. Но каждый день, пока находился в госпитале.

Знаете, люблю, грешным делом, макароны с гуляшом. Причём с детства. Ещё с садика. Главное, чтобы к макаронкам подливка была. И мясо.

Особенно те макароны нравились, ранешные, из советского прошлого. Чтобы трубочкой.

Аккуратненько так ложечкой макаронки зачерпнуть, чтобы и кусочек мяса, и подливочка в ней оказались! Аж зажмуришься от удовольствия.

В школе иногда на обеды давали. Потом в техникуме. В армии тоже, но не очень вкусно. Макароны разваренные и мяса с гулькин нос. В Афгане только с тушёнкой, но весьма. Весьма.

Правда, в Ташкентском госпитале неплохо



готовили, врать не буду. Но редко. За полтора месяца, кажется, пару раз было.

Жаль, что теперь таких макарон нет. Другие.

Как-то раз поспорил с пацанами на «слабо». Ну, как с пацанами, – вполне уже с военнослужащими. На втором году службы. С пацанами, конечно, чего там. Парни-танкисты на спор легко пошли, богатыми были, да и скучно им в боевом охранении Кандагарской бригады, вот и решили поразвлечься со мной, полужнакомым.

Спор в следующем: не поверили мне, что могу кряду пять (ПЯТЬ) банок сгущенки слопать. Нет, ну надо же, не поверили! Вопросов нет: вспорол штык-ножом сразу все пять баночек сгущенного молока, рядом поставил кружку с водой. По условиям имел право очередную банку глотком воды запить. И началось...

Первые три даже не запивал, проскочили аж с добрым утром. А вот остальные потуже пошли, хоть и был я голоден. Но ничего, терпимо, зато честное имя не запятнаю, да и приз стоил того!

Не буду в подробностях описывать, как последние полбанки туда-сюда скользили по пищеводу, поскольку ощущения не того, не из приятных. А тут же и лицо держать надо, и форсу не растерять.

Мама дорогая, я сделал это! Ещё для понта пальцем со стенок банок остатки молока собрал и тоже употребил внутрь. Чуть отдышался, выпил водички, забрал приз и пошёл к своим в полк. Подкормлю парней.

Немаловажно: призом была коробка сгущенки. Сорок банок.

Не знаю почему, но много, очень много лет я о сгущенном молоке даже думать не мог. Наверное, не очень свежее тогда попалося.

Вопрос такой. Ну, не то чтобы уж совсем вопрос-вопрос. Так себе вопросик, даже особо и ответа не требующий. Констатация, вроде как.

Все мы прекрасно помним Ленина нашего, Владимира Ильича. Изображений его и статуй было очень, очень много кругом и везде. Знакомый профиль с детства.

Страна СССР огромная, национальностей ого-го сколько, а Ленин один. Как, например, коренному жителю Чукотки или, скажем, Узбекистана, или, совсем наоборот, Прибалтики, доказать, что дедушка Ленин общий, к примеру, как позже товарищ Сталин оказался отцом всех народов.

Выход из положения был идеальным. В каждой республике портреты вождя имели сходство с местным населением.

Помнится, в Ташкенте на привокзальной площади аж обомлел. Ой, ёлки-палки, это кто?! С огромного портрета, если бы тубетейку пририсовать, смотрел на меня дядя Равшан. Он был тогда завмагом в приграничном с Афганистаном кишлаке Кокайты.

В карагандинском аэропорту встречал пассажиров сосед, дядя Аманжол. Если бы, конечно, был в войлочной шляпе. Калпак называется.

И так далее, и так далее. В Прибалтике, в Молдавии, на Украине и далее везде родные черты Ильича были ещё роднее. Чем не дедушка?

Потом, кстати, тот же трюк с дорогим товари-



щем Леонидом Ильичом провернули, но скромнее, поскольку всенародным званием дедушки и отца его не короновали.

Умели, умели же, а!

Звук в горах далеко разносится. В засаде скучно. Ночь. Самое время для караванов оттуда туда и обратно. Бдим.

Лясы точим с парнями. Рассказал глупую историю из школьной жизни.

В общем, иду как-то раз в школу и понимаю, ноги не несут туда. Что ж такое, думаю. А-а-а, контрольная по геометрии. Вчера велели подготовиться, а я забыл.

Как по-вашему, имеет право человек забыть что-то не очень важное? Можете не отвечать, поскольку ответ очевиден. Я и забыл. Теперь перед звонком вспомнил. Поздновато, но вспомнил же. Это главное.

Раз не готовился к контрольной, чего идти туда? Расстраивать учителя двойкой!? Нет, на это я пойти не мог!

Смотрю, на ненужной клумбе жёлтые нарциссы. Полюбовался ими и сорвал несколько штук. Подарю Вере Андреевне, учительнице математики, чтобы как-то горечь моего отсутствия на контрольной подсластить.

Прилежно убежал от тётеньки, которой, как выяснилось, принадлежала клумба. А я знал? Дождался звонка с первого урока за школой и пошёл в класс.

Жёлтые цветы подарил, конечно. Меня даже не ругали. На контрольную попал, поскольку геомет-

рию перенесли на второй урок. Первого вообще не было. Оказывается, нас вчера предупредили.

Безобразие! Громче надо предупреждать. Я, например, не слышал.

... Только парни рассмеяться собрались, взводный, низко согнувшись в спине, кулак под нос:

– Тссс... Жёлтый цвет – цвет грусти! – и тычет пальцем вниз.

Караван втягивался на тропу под нашими прицелами. На спинах верблюдов мешки жёлтого цвета.

Вы бывали когда-нибудь в ночном? В самом настоящем? В степи. Чтобы ночь непроглядная, шорохи травы, приглушённые всхрапы лошадей, искры костра вдобавок к звёздам, подгоревший кулеш из котелка и страшные истории.

От тех рассказов боязно, но стоит только взглянуть на деда, тянущего горячий чай из кружки у притомившегося костра, и понимаешь, что кнут у его ног поможет справиться со всеми угрозами.

Нас с десятков мальчишек и девчонок. В основном, городских. Приехавших на лето к бабушкам. Без проблем нас отпустили с дедом Колей в ночное. И ему не так скучно, и нам развлечение.

Разлеглись на сене, сброшенном с телеги, в ней приехали в степь. Тепло. Однако лоскутные одеяла не лишние. Сон.

И туманное утро. И роса. И молоко кружкой из огромного бидона с огромными кусками хлеба. Дедушка на ферму успел сходить, принёс парного.

Ночью проснулся в палатке, хоть где-то далеко, за боевым охранением стрельба, – спокойно



вокруг. Вспоминал звуки, запахи, ощущения из далёкого ночного.

Как я пострадал из-за «Машины времени»

Случай первый

Конечно, не то чтобы сильно пострадал, но из-за «Машины времени» это точно! Причём дважды.

Перед каким-то праздником в полку был объявлен музыкальный конкурс. Ну, а чего, не всё время же по горам и «зелёнкам» за духами гоняться, в самом деле! Замполит объявил, мол, песни и танцы народов СССР. От каждого подразделения два номера. Эх, тут отоспаться бы да отъестся после выходов, и на тебе, конкурс. Поскольку в роте было всего полтора гитариста Ромка и я (как раз половинка), то от народных танцев мы освободились. От хорового пения, кстати, тоже. А то взводный предложил «Смуглянку» спеть. Ротный показал ему кулак – нечего перевыполнять план, вон те побренчат, на нас с Ромкой кивнул, а эти, на других пацанов глянул, гокак спляшут: «Да?!». И что-то в голосе его такое было, что парни единодушно кивнули, даже туркмен Дурды, с трудом говорящий по-русски.

Мы с Ромкой сумели отвертеться от гопака.

Надо сказать, в полку были кассеты с записью «Машины времени». Поскольку Ромка был сносный гитарист, до службы в каком-то московском кафе играл, он и выбрал наш репертуар. Я с удовольствием следил за пальцами Ромки, растопыривал неуклюже свои и иногда довольно уверенно перебирал струны. Разучили несколько песен.

Замполит устроил прослушивание. Хоть до

концерта ещё почти месяц, но надо же линию мероприятия выстроить, понять, что и как, и что к чему.

Сидим с Ромкой на табуретах в палатке замполита, переживаем. А как же, творчество ведь! «Начинайте!» – дал отмашку майор.

И заиграли мы с Ромкой, он запел, я вторым голосом: «Снег, город почти ослеп...» Знаете эту красивую песню. И у нас красиво получилось. Нет, правда, красиво. Почти слаженно. Замполит о стол локтями опёрся, закурил, дым в потолок пускает и грустит. Спели мы, значит. Майор спрашивает, ещё есть? Ромка встаёт с табурета: конечно, сейчас сделаем – и мне подмигивает. Нехорошо так подмигивает. А я предупреждал Ромку – беда будет. Но его не переспоришь. Упёртый.

Ну и бахнул Ромка вступление, да ещё ножонку вперёд отставил, башкой затряс (рокер!). Я подхватил струнами, и мы заорали: «Ты можешь ходить, как запущенный сад...»

– Эт-та что за ерунда! – даже нас замполит переорал. – Эт-та что за мать вашу! Эт-та кому тут наголо сбрить!

Думали, майора удар хватит. К счастью, не хватил. Зато нам замполит по два наряда за незрелость политическую и отсутствие музыкального вкуса. И к концерту велел вообще не приближаться. Да не очень-то и хотелось. Тем более, что концерт наша рота пропустила, были на боевых.

А вот песня запомнилась. С удовольствием слушал и сейчас иногда слушаю. Хорошая песня. Тревожная. Для людей с крепкими нервами.



Случай второй

В Ашхабаде дело было. В 81-м году. Только вот не уверен насчёт времени года. То ли весной, то ли летом, то ли осенью. Тепло, в общем, было. Впрочем, там всегда тепло. Но не суть.

Прилетели из Кандагара в Ашхабад по какой-то своей военной надобности. Пока ехали в «Урале», увидели афиши. «Машина времени» такого-то числа, во столько-то на стадионе! Здорово! Тем более мы с Ромкой, как люди, пострадавшие от ансамбля, имели полное право на посещение концерта! А что, не так, что ли?!

Попросил знакомого прапорщика купить билеты. В день концерта лёгкой тенью взметнулись над дувалом военного городка и ушли в самоволку.

Отличный концерт был. Наорались со зрителями, в том числе и «Ты можешь ходить, как запущенный сад...».

Весёлые и добродушные вернулись в часть. Снова через дувал. Кто ж знал, что замполит бдил как раз под забором. Ночь на дворе, а он... Схлопотали мы с Ромкой несколько суток губы. Прямо, мол, сутра и отправитесь в гарнизон под арест.

Правда, утром по тревоге в Афганистан снова улетели, но осадочек-то есть!

Кстати, старый замполит в Союзе остался, а новый не знал ничего о наших с Ромкой сложных отношениях с «Машиной времени». Сам капитан слушал кассету и подпевал, в том числе и про «запущенный сад».

В марте одна тысяча девятьсот восемьдесят первого года в афганской провинции Бамиан офицеры батальона попросили запечатлеть их на фоне статуи Будды. Было поставлено два условия. Во-первых, парни должны быть сняты в полный рост, во-вторых, статуя тоже должна быть видна как можно величественнее.

Я старался как мог. Старенькая "Вилия - Авто" не располагала широким углом. В общем, когда я оказался на расстоянии слышимости, в объектив попало всё, что было заказано. Правда, после проявки плёнки и печатания фотографий, я долго не мог решиться вручить снимки заказчикам. Они – люди военные, далеки от высокого искусства фотографирования. Мало ли... Но ничего. Обошлось. Даже понравились снимки.

Луч солнца в соломинке.

Она прочно вделана в стену дувала. Сам дувал закопчённый, пару дней назад, видимо, все сгорело в маленьком дворике. Тронутый пламенем тополь, колёса от арбы, битая посуда под ногами, рвань тряпичная. Взрыв внутри домика вынес скарб сквозь окна.

И соломинка под солнцем. Яркая. Тёплая.

Поймал её взглядом и не отпускал. Долго не отпускал. Грелся.

Оперся спиной о стену лопнувшего домишки. Смотрел и смотрел на соломинку, и задремал.

У бабушки был такой же дувал в Казахстане. Весной обмазывали глиной с примесью резаной соломы, затем белили. Солнце плескалось в соло-



минках, мягко бликовало.

Через несколько дней возвращались тем же путём. Заскочил в знакомый дворик, поискал глазами соломинку. Дувал есть, тополь тоже, колёса от арбы на месте, а соломинки нет – ровнёхонько на её месте дыра.

Поковырял стену ножом, выпала пуля от бура.

Долго таскал её в кармане. Потом потерял. Да Бог с ней.

А соломинка с солнечным всплеском иногда снится.

Сидим в ущелье, в небольшом разломе скальной породы. Жара. Солнце в зените. Под бронези-летом можно варить куриные яйца. Вкрутую. Пот уже не капает и не течёт, просто обильно облепил тело и при каждом, даже еле заметном движении, густо и сытно, маслянисто и мерзко чавкает под мышками, в паху, под подбородком. Рядом, на камнях, лежит каска. На неё страшно смотреть. Вернее, страшно, что при необходимости нужно будет хватать голой рукой стальную, раскалённую сферу и напяливать на закипающую от солнца голову. Представляешь, как стальной обруч обожжёт кончики ушей и жар в голове удвоится, утроится, если даже не удесятерится. С не меньшим ужасом взгляд скользит по автомату, металл которого ничем не защищён от протуберанцев светила. А если начнётся «войнушка», опять же, голыми руками хватать оружие, обжигаться и стрелять горячим из раскалённого...

Хочется пить. Очень хочется пить. Страстно хочется пить. Но для этого нужно пошевелиться,



заставить правую руку выпрямиться, затем согнуться в локте ещё раз, опуститься к правому бедру, нащупать фляжку в выцветшем холщовом чехле, отстегнуть её от ремня, затем поднести руку к груди, свинтить крышку... и это всё для того, чтобы глотнуть горячей, несвежей воды, безусловно не приносящей никакой прохлады и радости! Так зачем тогда насиловать себя, для чего слышать чавкающий звук мерзко пахнущей хэбэшки и затем вновь с содроганием привыкать к болезненной мокроте тела?!

Так просидели целый день, до заката. Иногда, когда была не моя очередь караулить, лениво выкурив сигарету, проваливался в мокрый полубред-полусон, недолгий, очень краткий, без сновидений, и только однажды заснул глубоко, перед тем, как духи всё же вышли на нас, обойдя позицию по дальнему, не замеченному нами распадку у самого основания скалы, где мы сидели в засаде.

Перед самым первым выстрелом ты разбудила меня!

Это я так думаю по прошествии многих лет. Да, точно, это была именно ты!

Мне снилась женщина, светлая не только цветом волос, но и сердцем, и душой. Я это знал и чувствовал. Вот хочешь – верь, хочешь – нет! Я знал во сне, что ты идёшь ко мне, и я знал, что мы знаем друг друга, и что любим и любимы, я потянулся во сне к тебе, а ты вдруг протестующе подняла руки и словно оттолкнула меня. Я проснулся...

Тут началась стрельба. Ну, как всегда, в общем. И только потом я вспоминал этот сон, и только недавно понял, что во сне была ты. Спасибо, любимая!



Мы встретились случайно на железнодорожном вокзале в Ташкенте. Ночью. Я просто решил там дожждаться утра, чтобы ехать на Тузельский аэродром, к обеду оттуда вылетал борт на Кандагар.

Вагиф отправлялся домой. Демобилизация – есть такое радостное слово! Утром прилетел из Шинданда. Ждал поезда.

Юозас возвращался из отпуска. Ему завтра тоже в Афган лететь. Только не в Кандагар, а в Баграм.

Увидели друг друга, как-то поняли, что мы оттуда, покурили несколько раз. У меня была банка горошка. У Вагифа упаковка рафинада. У Юозаса – ром.

Ушли в теплую ночь в привокзальной сквер, подальше от патруля. Пили невкусный ром, хрупали сахаром, заедали сладким венгерским горошком. А и ничего получилось, так ром можно пить.

Хорошая была ночь. Добрая, чуть хмельная.

Где теперь бакинец Вагиф? Как в Эстонии Юозас?

Здорово было бы собраться вместе. Да под "Куба libre", да под сахарок, да под горошек зелёный просидеть всю ночь, проговорить. Хоть и виделись мы один раз в жизни, но, думаю, нашли бы, о чём потолковать.

1 ноября 1981 года.

Рано утром из кандагарской «Арианы» самолёт вылетел в Шинданд. Это пара часов лёту. Но это ещё не СССР, это ещё Афганистан.

И в Шинданде повезло. Оттуда вылетал транспортник на Тузель (Тузельский аэродром) в Таш-



кенте. Вот это уже Советский Союз.

Ходил в ту пору анекдот... «Летят в самолёте молодые солдаты. Прапорщик поучает:

– Летим на войну в Афган. Будьте аккуратны. За голову дают 100 рублей!

Сел самолёт. Бойцы врассыпную.

Прапорщик ходит по взлётной полосе, нервничает, на часы поглядывает. Видит, появляются солдатики. Каждый по две головы несёт.

Прапорщик стонет:

– Твою мааать, мы же ещё в Ташкенте!».

И в Ташкенте мне тоже невероятно повезло, прямо из Тузеля вылетал военный борт на Красноводск.

Потом я перестал удивляться, поскольку в Красноводске меня подхватили летуны на Баку, откуда я легко добрался гражданским самолётом в Минводы.

Ребята, вы можете понять этот кайф?! Утром ты ещё сдаешь автомат и прочие причиндалы, смотришь в иллюминатор на горы, на вспышки тепловых ловушек, в Шинданде слышишь гул обстрела где-то на постах охранения, а вечером ты уже дома...

По-дурачки улыбаешься, глохнешь от невозможности действительности, обнимаешься с родителями, тискаешь младшего брата и не понимаешь, как это произошло. Всего-то полсуток назад ты был там, а сейчас уже не там. Но и не тут. Поскольку, чтобы быть тут, надо от многого отвыкнуть, ко многому привыкнуть.

А пока, после домашнего ужина, закинуть «калаш» под кровать. И спать...



Хотел было точку поставить в повествовании, но...

Вчера Саня снова плясал на дороге, кривлялся и хохотал. Напился парень. В который раз за месяц.

Саня – хороший и добрый человек, честное слово. Мухи не обидит, даже когда пьяный.

В плену был Саня. Били. На расстрел несколько раз выводили. Забавлялись так. И кинжал у горла держали. Тоже было.

Что-то сдвинулось у Сани в голове. Бывает, он и не тут и не там. Смесь былого и нынешнего.

– Дядя Серёжа! – увидел меня с улицы. – Дай закурить!

Курим. Молчим. Утро хорошее, прохладное, после дождя.

– Спасибо, дядь Серёж, что домой вчера отвёл! – прячет глаза Саня. – Ладно, я на работу!

– Пока! – жму руку Сане. Провожая взглядом его виноватую спину. А так уж ли он виноват?!

В нескольких домах от моего живёт Саня. Ни родителей, ни жены. Кот и собака ждут его и скучают. И война Чеченская не отпускает.

Когда-то, в незапамятные времена, Цицерон в «Первой речи против Катилины» вздыхал: «О, времена! О, нравы!». Фраза стала крылатой. Повторялись эти слова из века в век все с теми же осуждающими придыханиями, обобщая и осуждая устоявшиеся порядки, намекая на упадок нравственности и морали.

С детства каждому из нас приходилось слышать в общественном транспорте о молодежи, не усту-

пающей места пожилым людям. То же самое мы слышали в юности, в молодости, в старшем возрасте. Сами порой сетовали, изменившиеся времена ругали, вздыхали, мол, раньше лучше было, правильнее. Сам иногда так вздыхаю. Однако...

Много лет назад, в начале восьмидесятых годов, произошла со мной занимательная история, чем-то схожая с событиями из рязановской «Иронии судьбы». Встретились мы с товарищем. В одном полку в Афганистане служили. Понятное дело, горячая встреча, посиделки у костра с шашлыками, разговоров-воспоминаний на всю ночь. Днем прибыли на железнодорожный вокзал в Невинномысск, чтобы уехал товарищ домой, в Ростов-на-Дону. Появились на вокзале раньше времени, посидели в кафе, Мишка (товарищ мой) и говорит, что побывал у меня, посмотрел, как живу, а сейчас непременно настаивает на взаимном визите. Лето. В институте сессия закончилась, почему бы и нет. Купили еще один билет в плацкартный вагон. Помните, такие коричневатые прямоугольники из жесткого картона, с круглой дырочкой вверху. Опять присели в кафе. Темнеть уже стало. Мятый голос из громкоговорителя на перроне лениво сообщает, что прибыл поезд, следующий маршрутом таким-то. Из мешанины слов выдернули только «Ростов-на-Дону». Кинулись к поезду, он минуты три всего-то стоял на станции. Вагон нашли сразу, сунули заспанному проводнику наши квадратики-билетики, тот лениво кивнул. С местами быстро разобрались, влезли на верхние полки и уснули.

Рано утром, когда поезд подходит к Ростову, уже светло, мелькают плесы, ерики, Дон блестит. А тут



смотрим в окно – пейзаж странный, что-то гористое, даже морское краешком выглядывает. О, боже мой, где мы?! Спросили у проводника, он на ломаном русском в ответ махнул рукой: «Скоро приедем!». Да, действительно, «приехали», вернее «приплыли», скоро. В замечательную столицу Советского Азербайджана. Поездом ошиблись. Сели не в «Баку – Ростов», а в обратный.

Баку встретил, как говорится, радушно, знойным утром, жарким ветром, запахом моря, нефти и ароматами шашлычных на привокзальной площади. Посчитали мы наличные и несколько огорчились. Один рубль семьдесят копеек явно мало даже по тем временам для перемещения нас хотя бы до Ставрополя. А еще вчерашние посиделки сказываются. Смело вошли под широкий тент одной из кафешек, прикинули: по бокалу пива – это 44 копейки, по чебуреку на брата – это еще 72 копейки, ну и на общественный транспорт, чтобы выбраться на оперативный простор, доехать до дороги, ведущей в нужном направлении, а уж дальше воспользоваться автостопом.

Сидим в тенечке, питаемся, Мишка огорчен, ему послезавтра утром на службу. В милиции тогда служил мой товарищ.

Подходит к нам полный такой дядька, невысокого росточка, лет сорока, в белом переднике и странном головном уборе с завязками сзади. Присел за стол, разговорились. Посетителей нет, только мы, вот шашлычник и решил развлечься, поговорить с новыми людьми. Слово за слово, рассказали ему свою грустную историю, даже остатками мелочи позвенели на ладони. Вспомнили, что в Баку, в поселке Разина, живет наш



однополчанин Вагиф Р., разыскать бы его. Но адреса нет. Вернее, адрес-то есть, но в записной книжке, которая дома осталась. Даже место припомнил, где книжка лежит, и страничку с адресом Вагифа. Зеленой пастой написано. А что толку?

Али, шашлычник, усмехнулся в густые усы. Вагифов в Баку, как, к примеру, Михайлов в Ростове или Сергеев в Ставрополе, а уж по фамилии Р., так еще и гуще. Порасспрашивал еще нас Али, посмеялся, погрузил над рассказами об Афгане, выставил на стол угощение. И базбаш, суп приготовленный на углях, и кутабы с мясом, и соус наршараб, и долму, и пахлаву, и, безусловно, коньяк «Гянжа». Хороший человек Али! Он нам и билеты купил до Ростова-на-Дону, и на дорогу сунул «пятерку». Как ни упрашивали мы с Мишкой нашего спасителя дать адрес, на который можно было бы вернуть деньги, наотрез отказался бакинец Али, отмахиваясь и повторяя, что шарик тесный, помогать надо друг другу. Читатель может усмехнуться сейчас и, подняв палец к небу, глубокомысленно произнести: «Времена другие были! Люди были другие!». Хорошо. Пусть так. И все же...

Как-то был я в столице. Как любой провинциал, в свободное от дел время носился по Москве, старался охватить вниманием как можно больше достопримечательностей. Красная площадь, храм Василия Блаженного, Арбат, Поклонная гора, Третьяковка. В метро на эскалаторе отдыхал. Очнулся только тогда, когда спина ловкого воришки была уже в самом низу «лестницы-чудесницы». Унес, гад, мой мобильник и бумажник с банковской картой! Хорошо, что в карманах оставалось немного наличности. Обратился я, конечно, в



полицию, тороплю сотрудников, чтобы побыстрее оформили и отпустили меня, поскольку до самолета осталось мало времени, без меня ж разыскивать вора будут. Я ведь описал его, правда, со спины. Но там же закон, там же протокол, там же порядок. Опоздал я на рейс, буквально к отлету лайнера приехал в аэропорт. В кассе мне вежливо сказали, что билет могу сдать и получить за него деньги только в том месте, где покупался билет, то есть в Ставрополе. Занимательно!

С небольшим количеством налички в кармане, без связи с миром, вспоминая историю тридцатилетней давности, проклиная вора и полицию, кинулся к маршрутке, чтобы уехать к станции метро, откуда ходят автобусы домой, в Ставрополь. Первым, у кого мне хватило духу попросить телефон, был парнишка-таджик. Сидел со мной рядом в микроавтобусе. Попытался дозвониться, никак. Второй оказалась девушка из Узбекистана, без сомнений протянула свой мобильник, от пятидесятирублевки отмахнулась, роуминг бесплатный. Хоть домашних успокоил.

Водитель рейсового автобуса Иван помялся немного, но поверил в мою грустную историю, позволил занять место в салоне. В Ставрополе я расплатился за проезд. Всю дорогу сосед по автобусу, Дауд из Дагестана, пытался угощать меня то завтраком, то обедом, заметив, что я никуда не выхожу на остановках, продолжаю смотреть телевизор или дремлю.

А вы говорите, времена настали плохие, испортились люди!

Не сомневаюсь нисколько, что и через десять, и через двадцать, и через тридцать, да через сколь-

ко угодно лет люди будут точно так же вздыхать, вспоминать былые времена и жаловаться на настоящие.

Люди всегда одинаковы. Есть добрые и злые, есть жесткие и мягкие, есть жадные и щедрые, есть прямодушные и хитрые, есть открытые и замкнутые, есть красивые и просто симпатичные, разные есть люди, и все же одинаковые, со своими страстями и переживаниями, со своим отношением к жизни и к другим людям.

Знаете, нам, вернувшимся из Афганистана раньше, повезло больше. Мы получали социальные гарантии: высшее образование, без конкурса при поступлении, квартиры, детсады.

А те парни, что к концу войны возвращались домой, в 88-м и 89-м, уже к развалу страны, по полной получили поддых.

«Мы вас туда не посылали!».

Рухнуло государство, рухнули идеалы.

Сейчас страна крепнет, мужает. Государство. Идеи. Идеалы.

Нам есть, что вспомнить. Нам есть, что рассказать. Нам есть, чем гордиться. Нам есть за что стыдиться. И, к счастью, мы ещё помним. Всё помним.

И вы, пожалуйста, не забывайте!



Предзимье

Густая синька туч над сыростью
земли,
Неясный сонный свет усталой
поздней осени.
Свой кружевной наряд уже
рябины сбросили,
И журавлиный стон давно угас
вдали.

Вечерний хриплый грай
шаловного воронья.
Дремотный воздух чист.
Прозрачно-сини дали.
Безрадостные дни для нас
теперь настали –
Пора предзимнего глухого бытия.

Мне ветер по ночам в ветвях
играет скерцо,
В усталой голове гудят колокола.
Мысль горькая о том, что жизнь
уже прошла,
Колючим сквозняком
пронизывает сердце.

Но скоро желоба заплачут под
дождём
И выметет метель душевное
мятенье.
И я тогда скажу спасибо
Провиденью
За то, что мы с тобой пока ещё
живём.

*Больница,
кардиологическое отделение
2012*



**ИВАН
АКСЁНОВ**

Поэзия



Ещё одна весна

Весна пришла опять. До верхних этажей
Акации горят огнём молочно-белым.
Небесную лазурь, подобно чёрным стрелам,
Пронзают стайки юркие стрижей.

Волшебная весна! Уже отцвёл наш сад,
В нём птицы гнёзда вьют, забыв свои забавы,
А скоро под косой падут густые травы,
И жёстко зазвучит железный звон цикад.

И вопреки тому, что пошлость, ложь и зло
Несчастную страну за горло цепко взяли,
Так хочется забыть обиды и печали
И жить, как в юности, отрадno и светло.

2013

Полдень

В лазури неба нет ни облака,
Но зной полуденный не в тягость.
Пахучим краснобоким яблоком
Неслышно созревает август.

И кажется: весь мир погубят
Потоки ультрафиолета.
Бесстыдным поцелуем лето
Сухие обжигает губы.

Трещат цикады неустанно,
И в этом диком ералаше
Туманит голову дурманной,
Медовый аромат ромашек.



Степь колыханьем трав несмятых
С безбрежным океаном схожа..
И пахнет чабрецом и мятой
Твоя оливковая кожа.

1993

Паруса облаков над землёй, разомлевшей от зноя,
Так лениво плывут. Сединой серебрится ковыль.
Как отрадно идти неширокой дорогой степною,
Загребая босыми ногами горячую пыль!

Стрекотанье кузнечиков так оглушительно-звонко,
Словно в кузнице дымной цыгане подковы куют.
От горячего пота прилипла к спине рубашонка,
Но зовёт отдохнуть карагач в свой тенистый уют.

Это скудное детство и это роскошное лето
Утомлённое сердце влекут к себе, словно магнит.
И, хоть жизнь на исходе и многое кануло в Лету,
Те далёкие дни благодарная память хранит.

2005

Персик

Моё лицо сжигал полдневный зной.
В халате пёстром, в старых шароварах
Бродил я по орущему базару,
Полуголодный, смуглый и босой.

Ишачьи крики, ржание коней,
Дувалы из растрескавшейся глины...
И вдруг две чёрно-жгучие маслины
Сверкнули из-под сросшихся бровей.



Торговцев ражих исступлённый гам,
Дым анаши, горячей пыли клубы...
Я лишь вздохнул, но розовые губы
В ответ прошелестели мне: «Салам!»

О, поцелуй тех персиковых губ!
Твой запах в сердце впился так глубоко!
Но грустно знать, что сны так подло лгут,
Что никогда я не был на Востоке.

1992

Давнее

Волов ленивый ход, и сонный скрип колёс,
и жаворонка трель в пылающем зените,
манящий отдохнуть покой лесополос,
далёкого дождя свисающие нити,

весёлых мотыльков затейливый балет,
виолончель шмеля над клевером душистым,
вечерних облаков тревожно-алый свет,
аккорды ветерка на чутких струнах листьев, –

всё это с детских лет впечатано навек
в скрижали памяти; и, может быть, в морозы,
теплом тех давних лет согретый, человек
вдруг вырвется на миг из пут житейской прозы.

1997

Сонет

Вечерний сумрак. Ветры присмирели.
Не шелохнётся ни единый лист.
Но в ткань прохладной тишины вплелись
Ночных сверчков задумчивые трели.



Как быстро угли облаков сгорели,
Припорошив золою неба высь!
Звонят сверчки, и звук их песен чист,
Как звонкий голос ласковой свирели.

Той музыки журчащий родничок
В листве над головой моей сверчок
Прервёт на миг и снова начинается.

И рвётся из груди счастливый вздох,
И кажется, что мир не так уж плох,
Раз есть в нём эта музыка ночная

2004

За безбрежьем полей, за туманною мглой
километров,
Где от снега, недавно укрывшего землю, светло,
Где кричат провода под холодными пальцами
ветра
Спит в объятиях ночи уставшее за день село.

Там костры облаков по утрам полыхали багрово
И румянились белые приземистых хат,
А потом, в завершение долгого дня трудового,
Тихо тлел, умирая, тревожно-лиловый закат.

Там когда-то томило меня моё горькое детство,
Там навеки оставил я дом и друзей дорогих.
Все, что было, былём поросло. Мне досталась в
наследство
Лишь икона заветная – память о предках моих.

Только сердце ночами зовёт меня снова и снова
(Это всё потому, что незваная старость пришла)
Прогуляться, где бродят печальные тени былого
По давно позабытым тропинкам родного села.

Посетить бы ту хату, где мать четверых нас
растила,
Посмотреть на высоких весенних небес синеву,
С замиранием сердца прийти на родные могилы
И слезу уронить на кладбищенскую мураву.

В бездне времени сгнуло всё, что там было
любимо,
И седыми песками забвенья засыпан мой путь.
Мне б туда хоть на миг. Только прошлое
неповторимо,
И того, что ушло, никому никогда не вернуть.

2005

Осеннее ненастье

Подслеповатый, сумрачный день.
В лужах прогорклый бурый настой.
Ветер несёт над рогами антенн
Вату, набухшую тёмной водой.

В небе туманном косо летят
Смутные тени – подобья ворон,
И инкрустирован чёрный асфальт
Красною медью и янтарём.

Реквием лету ветры поют,
И горизонт сизой мглою размыт.



В сердце тревога и злой неуют –
Предощущенье долгой зимы.

1993

Февральская оттепель

Сонет

Опять ненастье. Ночь темным-темна.
Где верх, где низ, не разглядеть вовеки.
В кисельных берегах дороги-реки,
Недавно промерзавшие до дна.

Наездник-ветер в яростном набеге
Не знающий ни отдыха, ни сна,
Гремит в литавры, стонет, как струна,
Льёт слёзы о дотла истлевшем снеге.

А в комнате – настольной лампы свет
И пар над чашкой с золотистым чаем
Струится, растекаясь в полутьме.

И робкою надеждою согрет,
Я оттепель февральскую встречаю,
Как древнюю отходную зиме.

1992

Бессонница

Так зябко запахнулась ночь
в меха своей собольей шубы.
В просторах тополиных роц –
Ветров торжественные трубы.



Жестка и холодна постель,
В сомненьях цепенеет разум.
Часы своим кошачьим глазом
Мигают в чёрной пустоте.

Кровь горячо и неустанно
В виски прибоем гулким бьёт.
Колоду впечатлений давних
Тасует память-банкомёт.

Шагами лёгкими, неспешно
Листвой опавшею шурша,
Бредёт аллеей опустевшей
Зимы печальная душа.

1991

Парк, словно храм, над земным запустеньем
Ввысь купола золотые простёр.
Косо ложатся холодные тени
На златотканый осенний ковёр.

Над вековой российской грустью
В гулком пространстве октябрьского дня
К югу летят утомлённые гуси,
Давней тоскою разлуки звеня.

Скоро привычную кончит работу
Осень, божественный ювелир,
И декабрём запорошенный мир
Станет большим чёрно-белым офортом.

1993



Не к шубе рукав

– Вот так-то... возвратились кони, – суетился Егор, поправляя на Василии вздёрнутую до самых плеч, перепачканную сукровицей рубаху. – Вчерась под ночь и пришли. Все одинадцать. Смотрю, у конюшни топчутся. А Буланок, паразит эдакий, ещё и ржёт, и радостно так. Завёл я их, конечно, сенца задал. Вот же дела-то какие, дружок ты мой. Хорошие дела-то! Теперь обвинения с тебя непременно снимут. Варюшка придёт, так я к председателю побегу. Скажу, чтобы в отдел прямо сейчас звонил.

Василий, сознание к которому то возвращалось, то уплывало, сообразил наконец, о чём идёт речь, и кивнул:

– Говорил же я, что придут они. Обождать надо. Буланок... он ведь в степу все стёжки-дорожки знает. А следовательно этот... фамилия мудрёная... так и не запомнил... всё нажимал: рассказывай, мол, кому колхозных лошадей продал! – размазал дрожащими пальцами выкатившуюся к носу слезу. Любое движение отзывалось в



ОЛЕГ
ВОРОПАЕВ

Проза





спине мучительной болью.

Помолчав, продолжил:

– Но он-то ещё ничего. Только за ворот хватал. А эти... подручные его... злые, как бесовы кобели... всю душу из меня выбили! Выживу, так... – Василий закашлялся. – Пусть молятся, чтоб не выжил! Спать не буду, жрать не стану, пока на тот свет не спроважу иродов! А спроважу, тогда уж и самому помирать можно. На войне пожалела меня судьба, а тут... вот оно как обернулось. Что скажешь, Егор?

– Помереть, Василёк, мы всегда успеем! Это уж так! Все, как говорится, под Богом... Ты только не шевелись лишка, береги силы. Пригодятся ещё. Да и что тебе эти ироды! Палачи они. Исполнители. Убьёшь, так другие найдутся. Може, и лютее ещё.

– Лютее уж некуда, – застонал сквозь сведённые зубы Василий. – Залежался я чтой-то, Егорка, на животе. Помогни... поверни хоть на бок чуток и попить дай.

– Фершел вчерась сказывал, что пить тебе много нельзя, – забеспокоился Егор.

– К чёрту твоего фершела! Тащи воды!

Запёкшимися губами Василий приладился к кружке, но, сделав три жадных глотка, поперхнулся:

– Погодь! Нейдёт дюже... Позже ещё дашь.

Три дня как привезли Василия из Георгиевска, где содержали в бетонном мешке с решётками. Там аккуратно два раза в сутки (второй раз всегда почему-то ночью) выводили его на допрос к следователю, который требовал дать признательные показания. Василий упорствовал и никак не соглашался с тем, что коней он продал, и что в действиях его был злой умысел.

Следователь, в свою очередь, тоже упорствовал



и с укоризной в глазах нажимал находящуюся под рукой кнопку. Появлялись два человека в просторной, защитного цвета форме, и допрос продолжался теперь уже с помощью укороченных черенков от лопат. То есть «с пристрастием», как со спокойным и даже немного застенчивым выражением лица называл такое «процессуальное действие» сам представитель закона.

Закончилось тем, что подследственный стал невятно мычать и пускать кровавые пузыри.

Вызванный в кабинет доктор пощупал на шее пульс, затем приоткрыл сначала один, а затем и второй глаз подследственного. Покачав головой, что-то тихо сказал на ухо следователю. Тот кивнул и устало махнул рукой.

На следующий день Василия погрузили на попутную телегу и отправили в родную станицу. Решили, что возиться с ним тут не имеет смысла, а выживет ли, не выживет – так это уже дело к органам не касательное.

– Чего ты, дурак, упёрся! – напоследок выговаривал следователь уложенному в телегу на живот (спина была сильно разбита) Василию. – Признался бы, что продал, так больше пяти лет и не дали бы.

Станица, где Василий появился на свет, до революции звалась Государственной. В двадцатые годы станичный Совет казачьих и крестьянских депутатов дал ей новое имя – Советская.

Здесь трёхлетним мальчишкой впервые усадили Василия деды-казаки в широкое казачье седло. На этой земле он сызмальства учился пахать, сеять и убирать хлеб. Отсюда же в четырнадцатом году отправился девятнадцатилетним юношей «вое-

вать германца».

Амуницию и коня справил ему дед Харитон. Старый рубака и шашку для внука своего приобрёл. Ту самую, с которой всю турецкую кампанию прошёл. Не раз потом сослужила Василию верную службу дарённая дедом кавказская шашка-пташечка.

Этим же призывом отправился воевать и Гриднев Егор.

С детства они были с Василием не разлей вода. Вместе росли и мужали. В мальчишеских кулачных баталиях стояли друг за друга горой! Дома по соседству. Матери за солью друг к дружке бегали, отцы так за табачком. Да за разговором под крепкий, дерущий горло самосад почему бы и чихиря не пропустить по стаканчику казакам-ветеранам?

Война ещё больше сблизила Василия и Егора. В единый распределились служить полк, в единую сотню разведки. А там уж и не упомнить, во скольких по счёту сабельных рубках побывали друзья-станичники. И всюду они «стремя о стремя». С другом оно ведь и шашкой в бою веселей махать. И на привале любимую песню отчего ж на два голоса не разбить?

Война через год становится делом привычным. Цел, да и ладно! А убит или ранен, на то и доля казачья.

В шестнадцатом году изменило военное счастье Егору. На Галицийском плацдарме фугасным снарядом убило под ним коня, а самому ему ногу отстегнуло так, что повисла она от колена на сухожилиях. Лежит на земле Егор, на кость свою торчащую из сапога смотрит и поверить не может, что всё это не с кем-то, а с ним случилось. Сто раз



видел он смерть и увечья со стороны, но вот и его беда отыскала. И самое страшное, что боли он совсем не чувствует. И только одно лишь слово откуда-то из самых глубин живота ползёт и ползёт к горлу: «Отвоевался!»

А Васька уж тут как тут, не растерялся – в мах перерезал ножом сухожилия, перетянул поясным ремнём остаток ноги и, затащив своего боевого дружка на коня, вывез из-под огня.

В госпитале Гриднева долго не задержали. Сформировали культю, выдали костыли и медаль «За храбрость» четвёртой степени. Ну а дальше, как говорится, спасибо, казак, за службу и ковыляй в родную станицу доживать инвалидом.

Но что значит доживать, когда тебе только двадцать один год?

– Не повезло, – встречая Егора, качали головами станичники. – Землю пахать, а без ноги – это даже не полработника. Да и какая молодайка пойдёт за такого!

Но оказалось – пойдёт. Повстречал казак у реки Куры хохотушку Загумённую Дарью. За водой пришла, а сама-то и очи поднять боится.

– Испить что ли дай? – придержал за коромысло девицу.

Та опустила на землю вёдра, посмотрела смело. Прямо в глаза посмотрела да и сказала как есть:

– Да что уж испить?.. Засылай сватов, Егорушка. Всегда ты мне люб был... ещё до войны...

По осени свадьбу сыграли и зажили Гридневы не хуже других.

Егор всё, что положено на подворье, справлял сам. Жену до мужского дела не допускал. А через год на деревяшке своей и к плугу приноровился.

Тут главное, чтобы лошадь «дуром не тянула» и шагала помедленней. Поначалу деревянная нога утопала в пахоту, и дело не спорилось. Сообразив, что к чему, приладил Егор к ней обутое в старую галошу подобие ступни. Вполне себе ничего получилось.

Трудно? Да. Поначалу и культия растиралась до крови. Но это не повод совсем, чтоб земля простаивала. Вместе со своей неунывающей жёнкой теперь он и горы свернёт.

Василий же, оставшись на передовой, дослужился до младшего вахмистра. Получил за плённного в бою австрийского капитана Георгиевский крест и в январе семнадцатого года командовал уже полусотней.

До первого офицерского чина, как говорится, рукой подать. Но грянули в Петрограде один за другим революционные беспорядки, отозвавшиеся на фронте разрушением воинской дисциплины, массовым дезертирством и последовавшим вскоре за этим позорным миром с окопавшимся на российской земле врагом.

Казачьи боевые полки, где дезертиров по пальцам можно было пересчитать, новым большевистским правительством в спешном порядке были расформированы и распущены.

Не очень-то обрадовались казаки такому бесславному завершению военной кампании.

– За что же столько людей перемолото было? – недоумевал Василий, возвращаясь в родную станицу.

В комнате печка-голландка натужно гудит.



Натоплено жарко.

– Красота-то какая! Будто пух лебязий, – кивает Егор на крупные, парящие за окном хлопья. – Со вчерашнего дня летит. Помню, как за Курой по первому снегу ты лису на Анваре своим поднимал и гонял, пока не возьмёшь. И главное, чтоб без ружья, а только нагайкой.

– Да... славный Анвар был конь, – хрипло отозвался Василий. – С норовом. Случалось, что и сам копытами зверя топтал. В бою так всегда молодцом держался. Разрывы кругом, а он ничего... храпит, приседает... – кровавая струйка сбежала изо рта на набитую сеном подушку. – Егорка! Разверни ты меня на свет. Жарко... Окно нараспашку открой... распахни!.. ты слышишь?

Егор уже было взялся за ручку оконной рамы, но открывать передумал, потому как за спиной послышалось невнятное бормотание, переходящее в крик:

– Шашки наголо! В походной колонне!.. Марш-марш! Рысью! Куда?.. Куда вас, черти, несут?! Левый фланг, осадь назад! – и снова чуть слышно: – Ты где?.. Ты где, Лизавета? На кого ты меня оставила? Возвращайся! Яшка-то умер уже, слышишь? Наградила его ты смертной своей болезнью.

Воспользовавшись тем, что у Василия начался бред, Егор решил поменять ему уложенные на спину вместо бинтов тряпицы – старые, напитавшиеся сукровицей, отправились в таз, новые, смоченные в слабом растворе уксуса, легли на их место.

«Скорей бы пришла Варюшка», – вздохнул Егор.

Вот уже часа два как нет её. Ушла за обезболивающей мазью к знахарке. Так ведь и знахарка не

близко живёт – на том краю станицы, где иногородние селятся.

С Варварой Василий сошёлся в двадцать девятом году, когда у обоих уже были дети. У Василия два сына – Володя и Яша, а у Варвары – дочь Зоя. Василию тогда уже крепко за тридцать было, Варвара на десяток лет моложе. Вдова.

До этого за казаком Иванько была замужем. Иванько этот слыл богатым, и новая пролетарская власть решила его расказачить.

Тот спорить не стал и сказал представителям власти коротко: «Забирайте всё!» Всё и забрали. Хорошо хоть из дому согнать не успели. Помер казак. Говорят, впечатлительный был. Переживал.

Вдову не тронули. И правильно сделали. Характер у вдовы был такой, что лучше десятой дорогой её обойти.

Василию же разницы нет, какой у бабы характер. Крутого нрава казак. Бывало, посмотрит с приподнятой бровью, а Варюшка уже и не знает – под стол ли скорее лезть или из хаты долой! А слово упрёка, так это совсем забудь! Молчала Варвара, хоть и рассказывали ей товарки, что на гулянках Василий брал молодайку, какая ему по душе, да в степь уводил. Да и как устоять девице, когда он лезгинку танцует так, что из-под лёгких сапог разве что искры не сыплются.

Сжился с Варварой Василий. Младшие дети – Володя и Зоя – вместе растут. А в тридцать пятом году и общий сынок у них появился – Виктор. Вот только старший сын Яша мачеху не принял. Как ни старалась та, не принял и всё! Сам по себе жил. В



дом никогда не входил. На сеновале в сарае спал. До самой почти зимы. Там и нашли его в холодное октябрьское утро мёртвым. Да и по-честному если сказать, не жилец он был. Мучился лёгкими. Мать, Лизавета, смертельную свою болезнь передала ему.

«Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлѐшь ты мне привета...» – вспоминает Василий свою ненаглядную. Да и как тут не вспомнить? Первая любовь, она ведь и есть самая настоящая.

В Моздоке тогда расквартировали их полк на отдых и пополнение.

Расположиться ещё не успели, а полковое начальство Василия к себе уже требует:

– Местному атаману снесѐшь бумагу. Расчѐты здесь на фураж и ремонт коней, – объявил ему дежурный по полку, протягивая конверт.

В доме у атамана впервые её и увидел. Увидел и обомлел.

– Дочь моя, Лизавета, – представил красавицу атаман.

Та по обычаю поднесла чарку. Выпил чарку казак. Поправил усы. В пояс, вместо слов благодарности, поклонился.

Зацепила казачье сердце статная, с гордо посаженной головой девица. Не видел ещё никогда Василий, чтобы руки у казачки такие нежные были. А косы?.. А глаза-то какие? – чудеснейшие, надо сказать, глаза – цвета созревшей вишни, вот какие!

Так ведь и Василий казак не промах! Во взоре огонь, а на бравой груди Георгий четвёртой степени.

На следующий день дождался красавицу у двора и назначил встречу. Посмеялась она, мол,

жди, а приду или не приду, на то моя воля. Не пришла в этот раз гордячка. Огорчился казак. Однако же раззадорился только. Не такие, мол, крепости брали! Через день подстерёг у колодца свою зазнобу и нашёл-таки нужное слово.

На крутом берегу Терека первый раз без чужих глаз увиделись. Что тогда говорил он, теперь уж и сам не вспомнит. Но это и неважно уже. А важно лишь то, что пробежала меж ними искра.

С этого дня каждый вечер почти выходила она к казаку, к заветному месту на Тереке.

Шестнадцатый год. Война в разгаре. А у молодых любовь, да такая, что будто с ума сошли.

– Скоро уже на фронт мне, Лизонька, – вздыхает казак.

– Любый ты мой, родимый... молиться за тебя стану... ждатель стану. Да лишь бы живой вернулся! – улыбается сквозь слёзы казачка.

– Вернись! – обещает казак. – Вернись и сватов зашлю.

Стоят они под наливающейся соком черешней и верят в своё неземное счастье.

А впереди у казака год войны. Да и в плену ещё запросто мог погибнуть.

Плен на войне – дело нехитрое, и с генералом случиться может, не то что там с каким-то младшим вахмистром. На передовой так особенно. Ринулся Василий со своей полусотней обогнуть лесок, чтобы ударить неприятелю во фланг, а место это оказалось давно уж пристрелянное. Вот и попали они под шквальный огонь. Те, что назад поворотить успели, те и спаслись. Под Василием же убило коня (любимого его Анвара), а сам он, хоть и без серьёзных ранений, был контужен.



Немцы, как выяснилось позже, тоже на этом участке удар готовили.

Очнулся в сарае. Голова гудит. Рядом десяток израненных казаков. То ли пожалели их немцы, то ли на своих обменять решили. На фронте уже разложение чувствовалось, и младшие чины, не ставя в известность старших, свободно менялись пленными. В солдатских полках кое-где происходило уже и братание. В казачьих же о таком и помыслить нельзя было.

В первые два раза, что выводили «до ветру», Василий присмотрелся к обстановке и всё рассчитал: «Кони у коновязи. Жаль, что обозные, не верховые. Если бегом, то двадцать шагов до них... Без седел, но попробовать можно. Крайний гнедок суховатый. Должон донести. Никуда не денется! Всё одно ведь убьют. А обменяют, так и это позор...»

На следующий день, приметив, что гнедок на месте, Василий решился – ударив одного из конвоиров головой в лицо, забрал у него винтовку и штыком заколол второго. Так быстро заколол, что тот и удивиться не успел. А двадцать те шагов будто целую вечность бежал. Но уж постромки-то у гнедка перерезал в мгновение ока. Благо, немецкий штык не наш четырёхгранник, а самый настоящий нож. Запрыгнув, молодецки гикнул (ну как же без куражу казаку?) да и понёсся, перепрыгивая через вражьи окопы, к своим.

Конечно, стрельба с двух сторон пошла. Хорошо, что до русских окопов не больше трёхсот шагов. Да и наши солдатики опомнились быстро, прекратили огонь. Без единой царапины доскакал Василий.

За этот геройский побег послали представление



на Георгиевский крест третьей степени. Но тут уже революция подоспела. Большевистская. А большевикам, как выяснилось позже, и сама эта «империалистическая война», и полученные на ней награды оказались ненужными.

По возвращении с фронта Василий поспешил в Моздок, просить у атамана руки Лизаветы. Тот не сразу смог взять в толк, чего от него хотят, а когда понял, то совсем не обрадовался.

– Да ты в своём ли уме, казак! – отчитал он Василия. – Жениться не напасть, да как бы, женившись, не пропасть! Не видишь ты разве, что происходит?! Дон и Кубань поднимаются супротив новой власти. Терцам в сторонке отсидеться никак не получится. Езжай в свою станицу и жди! Скоро и нам «в ружьё» сыграют. И тут уж, как говорится, каждая сабелька на счету!

– Не могу я ждать, господин полковник! – упрямо тряхнул головой молодой казак. – Потому как любовь у нас! Со своей стороны обещаю жалеть и беречь вашу дочь до скончания срока моего на этой земле! Делайте, что хотите, но без неё, без Лизаветы моей, не уеду!

– Гм!.. Упряма ты, братец! – глянул исподлобья на Василия казачий полковник. – А упряма, так по нынешним временам – это даже неплохо. Да только родительского благословения моего вам не будет. Жених у неё имеется. А сватов зашлещь, так и им другого ничего не скажу! Кругом! Шагом марш отселе, пока плетей не наказал тебе всыпать.

В глазах потемнело у казака, схватился за шашку, да хорошо, что опомнился вовремя.

«Вечером приходи!» – кивнул на крыльце



испуганной, прижавшей к губам платок Лизавете.

Какими уж неправдами выскользнула та из отчего дома, да только пришла она к условленному их месту ближе к полуночи. Василий уже отчаялся ждать, но виду не подал. К сердцу прижал свою ненаглядную, и долго они так стояли, слушая, как грохочет внизу беспокойный Терек.

– Не отдаст отец! – заговорила наконец Лизавета. – Сказал, что никогда не отдаст. Всё плохо, любимый! Так плохо, что хуже некуда! Два дня тому, как от Еськовых, что через двор от нас живут, сваты уже были. Богатая семья. Сговорились они... А мать уже и приданое мне готовит.

– Сговорились? – казак отстранил её и внимательно глянул в глаза. – А ты что? Твоё-то слово какое?

– Сокол ты мой! Умру без тебя я – вот что! – порывисто отыскала его ладонь и уткнулась в неё лицом. Мозоли, привычные к оружию, царапнули щёку.

– Ну а коли так, то поехали прямо сейчас. Кони засёдланы. Ждут за оврагом! Поедешь?

– Поеду, милый! С тобой хоть на край света. Только обещай мне сейчас, что по-честному всё будет.

– Обещаю! В Новопавловской станице у меня поп знакомый. Отец Иоаким. Завтра же и повенчает нас. А как повенчает, так и отцу твоему никуда уж не деться.

Так и случилось. Обвенчал их новопавловский поп, запросив за то немалое пожертвование на нужды недавно отстроенного храма Петра и Павла.

А как свадебные торжества улеглись, так отправила Лизавета покаянное письмо родителям с



просьбой простить нерадивую дочь и благословить. Разгневанный старый полковник ответил коротко, что «дочери у него больше нет, а раз так, то, ежели попадётся некая Лизавета ему на глаза, то благословит он её разве что плетью повдоль спины».

Кто знает, может и переменился бы атаман со временем. Внуки пошли бы, так и вовсе растаял бы. Но об этом теперь лишь гадать. Семнадцатый год. А в следующем за ним восемнадцатом уйдёт воевать полковник за Белое дело и больше уже не вернётся. А следом и всю семью его новая рабоче-крестьянская власть изведёт под корень.

Всю, да не всю! Рождение и смерть не отменишь. В том же восемнадцатом году у Василия и Лизаветы родился первенец – Яша.

Гуляет гражданская война по России. Собирает кровавую жатву. За кого ты, казак? За белых или за красных? Ну а ежели не за этих и не за тех, то можно и за зелёных или ещё за кого... Агитаторов много, а кому из них верить, решай-выбирай сам.

Но выбирать получается не всегда. Кто хозяйничает в населённом пункте, тот и объявляет мобилизацию. С неявившимися на призывной участок разговор короткий – в расход!

Занявший станицу Государственную генерал Покровский несколько человек приказал расстрелять, а активистов – повесить на площади. Не пощадили и трёх женщин, укрывавших красных.

– На кого же ты нас покидаешь?! – билась в объятиях Василия Лизавета. – Убьют, не дай бог! И как мне его поднимать одной?! – кивала на люльку с грудным младенцем.

– Не убьют, – усмехался угрюмо Василий. –



Германец не убил, а уж дома-то на своей земле как-нибудь выживу.

Снова ввязался казак в войну. Но долго у белых не задержался. Уж больно не по нраву пришёлся ему генерал Покровский – и правых, и виноватых «пускающий в расход» без разбору.

«Дядьку твоего, Якова Харитоновича, с другими активистами белые за Курой расстреляли. Родственники спрятали его в подвале, но кто-то выдал...» – читал Василий в весточке от Егора. Читал и чувствовал, как скребётся о рёбра сердце. Уж больно любил он этого, повидавшего виды казака, ветерана войны с японцами, весельчака и замечательного рассказчика. Даже сына назвал в его честь Яшей.

Вина Якова Харитоновича заключалась в том, что в то время, когда Государственную заняли красные, жители выбрали его председателем станичного Совета крестьянских и казачьих депутатов.

Узнав, что у железнодорожной станции Прохладная им противостоит отряд под командованием уроженца станицы Государственной Владимира Ивановича Кучуры, Василий ночью покинул расположение полка и дал себя арестовать разъезду красных казаков, оказавшихся к тому же его знакомыми.

Конечно, рисковал. Перебежчиков к стенке ставили, не раздумывая. Вмешался В.И. Кучура. Поговорив с казаком, поручился за него лично и приказал вернуть оружие. Перед строем сказал:

– Не надо мне вам, товарищи, говорить, какие у нас потери. На счету каждая шашка. Василия я знаю давно и верю ему. Казак с боевым опытом. Военный разведчик. Пришёл к нам с конём и



оружием. Завтра атакуем железнодорожную станцию. Пойдёт в первой сотне. Как раз себя и покажет. Положение сейчас такое, что в сторонке не отсидишься. Либо с нами, либо против нас. А и правда, Василий, – смерил перебежчика внимательным взглядом Кучура, – не дрогнет рука своих бывших однополчан рубать?

– Знал бы, что дрогнет, так не пришёл бы, – угрюмо отозвался Василий. – Везде кроваво... Да ведь и большая часть моих станичников здесь, а не там.

Так оно и было на самом деле. Станица Государственная большинством дворов тяготела к красным, в то время как соседние Новопавловская и Марьянская – к белым.

Без малого год ещё воевал Василий в отряде Кучуры. А если с Германской считать – шесть лет, как не выпускала рука пашку. Устал казак. Да и как не устанешь?

В двадцать первом году демобилизовался и отправился к семье в родную станицу, не Государственную уже, а Советскую.

Вернулся, а земли своей нет. Отдала Лизавета землю в коммуны. Самой обрабатывать не под силу, вот и решила отдать.

– Что умеешь-то? – спросили Василия на собрании Совета коммуны.

– Воевать умею, – огрызнулся казак.

– Понятно, – закивали, заулыбались коммунары. – От земли, стало быть, отвык. Табунщиком пойдёшь? Как раз нам табунщик нужен.

Табунщиком так табунщиком. Дело нехитрое. Земли за Курой хватает.



Через месяц с человеком в кожанке пришли представители новой власти и потребовали сдать оружие.

– Какое это оружие? – не сразу понял казак. – Винтовку я оставил в полку, когда демобилизовался ещё. Домой без оружия пришёл.

– Василий Иванович, не дури! У нас мандат есть. Вот! – сунули под нос бумагу. – Шашку свою тащи сюда. Иначе обыск устроим. И ежели уж найдём, не обижайся. Из коммуны тебя исключим! Ещё и судить будем.

– Да как же казаку без шашки? Она же, пташечка моя, у меня от деда. От смерти спасала не раз! – помрачнел Василий.

«Эх, знать бы... – подумал. – Спрятал бы так, что сам чёрт не нашёл бы! А то ведь над кроватью она, на самом видном месте висит».

Вынес. Дёрнул клинок из ножен. Так дёрнул, что активисты к калитке попятились.

– Стой, где стоишь! – человек в кожанке рванул из-за пояса наган и направил его на Василия. – Знаем про тебя всё, контра!

– Не бойсь! Не трону! – усмехнулся казак.

Отвернувшись от делегации, коснулся губами клинка:

– Прощай, подруга.

Вечером Василий глушил самогон у Егора.

Не только шашку, но и старинный кавказский кинжал отдал тот представителям новой власти. Отдал со спокойным лицом, будто ждал их.

– Да рази ж мы теперь казаки?! – стучал по столу Василий, то и дело хватаясь за ремень, где раньше висело оружие.

– Понять их можно. Боятся, – успокаивал друга

Егор. – На Дону беспокойно. Говорят, и на Тамбовщине крестьян никак не утихомирят.

– Эх, Егорушка! Не шашку ведь... – скрипел зубами Василий, – душу мою они заарестовали!

В двадцать седьмом году родила Лизавета Василию сына Владимира. Фельдшер станичный рожать не советовал, потому, как больная уже была. Прицепилась чахотка невесть откуда. Кашель изматывал. В последнее время с кровью. Изолировать надо было. Да некуда. Заболел и Яша.

Володя же появился на свет здоровым бутузом.

– Бравый казак будет! – показала роженице мальчика повитуха.

Позвали Василия. Лизавета, перекрестив новорожденного, из последних сил улыбнулась мужу и сказала чуть слышно:

– Любила тебя я, Вася... только тебя...

И больше уже ничего не сказала. До ночи металась в горячке. Потом успокоилась. А как стало светать, так отправилась чистая душа её к небу, просить за оставшихся на земле прощения.

Не сладко одному. Ох, как несладко! Да ещё с двумя-то мальчишками.

Пока Василий в степи стережёт табун, детки его у матери, у Анны Мефодьевны. На отца, Ивана Харитоновича, надежды мало, тот ещё гулёна, то уйдёт из семьи, то вернётся. Да и у самих у них Костик-последыш¹ растёт, мальчишка ещё совсем.

И вроде не упрекает мать, но невест то и дело подыскивает. Да и к слову сказать, от тоски стал

¹ Последыш – самый младший в семье, последний ребёнок у родителей.



заглядывать в рюмку Василий. Ну а если уж свадьба или просто какая гулянка, так сразу его и зовут. «Ить лучше Воропая-то никто не споёт и не спляшет!»

– Негоже, сынок, – наконец напрямую решилась поговорить с Василием мать. – Негоже вдовому казаку с дитями без жинки. Сопьёси! Эвона сколько вдовиц по станице! Бери, не хочу! Да вон хоть Иванькова Варюшка. Бабёнка справная. Домовитая! Из доброго казачьего роду Гуенко. Дочь у неё, так то не беда. Ты тоже с приданным, – подмигнула сыну Анна Мефодьевна. – Двор у неё, как два наших. Дом в чистоте содержит. А главное, по мужской части не замечено, чтоб баловалась. Сваты не нужны вам. Не в первый раз. Я, ежели что, так и сама к ней могу пойти да потолковать. А? Что скажешь?

– Охота вам, так идите и потолкуйте!² – отмахнулся Василий.

Знать бы ему наперёд, что старший сын его, Яша, не примет мачехи, так, может, и другую подыскал бы себе вдовицу. Так ведь ещё и характер у Варюшки такой, что любого казака под каблук свой загонит! Не тронь, что называется, характер! Василия, однако, она боялась. Тот, если что не по его воле, два раза не повторял – белым делался, как полотно, и нагайкой мог не жалеючи отходить.

Так вот семейно и зажили. Потихоньку притёрлись. В тот год, как не стало Якова, родился Виктор. Зоя и Володя растут. В школе неплохо учатся.

Василия в начале тридцатых годов два раза увозили в район. Пытали о том, что делал у белых,

² Родителей в казачьих семьях называли на «Вы».

под началом кого и на каких фронтах воевал.

Врал, что служил в обозе, что шашку из ножен ни разу так и не вынул.

– В обозе, говоришь? На войне полусотней разведки командовал, а тут!.. – недовольно косился следователь. – Кто подтвердить это может? С кем ты служил в своём обозе?

– Не знаю, кто может, – пожимал плечами Василий. – Никого из тех, с кем служил у белых, ни разу ещё не встретил. Порубали их, наверное. Мобилизовали меня насильно. В обозе оказался потому, что сразу же заболел тифом. А о том, как я славно рубился у красных, вам может рассказать Владимир Иванович Кучура. В его отряде я сражался с февраля девятнадцатого до января двадцать первого года. Демобилизовался в Крыму.

– Что ты мне Кучурой и Крымом тут тычешь! – горячился следователь.

То ли имя известного на Кавказе красного командира сыграло какую-то роль, то ли улик не хватило, но Василия оба раза выпустили. Потом лет на пять и вовсе забыли. Не забирали. Не вызывали. А тут, как назло, эти кони! Будто бы специально кто их в степь заманил!

– Дети из школы пришли, – выглянул в окно Егор. – Володька твой в Лизавету. Физиономия тиллигентная. Не-ет! Не гуенковской крови, сразу видать.

– Он про мать ничего не знает. Варюшка просила молчать, – отозвался Василий. – Скажи, чтоб сюда не шли... Не хочу я...

Он не договорил, так как дети, смеясь и толкаясь, ввалились в комнату. В школе они совсем



позабыли, что дома хворый отец, и теперь им за это было неловко.

– Пап, может, принести вам чего? Я мигом! Яблочко мочёное будете? – затараторила Зойка.

– Ступай, самовар поставь. Дядя Егор на дорогу хоть чаю попьёт. – Приподнявшись, Василий подозвал Володю и положил ему на лоб тяжёлую, в загрубевших мозолях руку. – Чего глазами-то хлопаешь?.. Тиллигент... – через силу улыбнулся и оттолкнул мальчишку. – Брысь отседова! И чтоб больше я тебя здесь не видал. И Зойке накажи, чтоб не заходила!

Володя, скрывая подступившие слёзы, шмыгнул за дверь.

– Зачем ты так с сыном? – укоризненно покачал головой Егор.

– Не хочу, чтобы таким вот беспомощным остался в их памяти. А ведь останусь... таким и останусь... – Румянец проступил на щеках Василия, и Егору невольно поверилось в то, что тело этого сильного человека всё переможет. – Эх, с пашкой на коне бы погарцевать! Вот каким должен я остаться у сына в памяти. Ухожу я, Егор! Умираю... А ведь нам только чуть за сорок! – Василий вдруг рассмеялся и заговорил торопливо, с жаром. – И вот что ещё я скажу тебе, Егор: счастливчик ты! Вовремя ногу тебе отсекло. Потому и выжил! И долго ещё проживёшь! Ни белым, ни красным калека не нужен. А покалечило бы и меня на той войне, так тоже бы жил. Без руки, без ноги, да хоть и без двух, но жил бы... И не запачкался бы кровью станичников! Ведь ты же, Егор, не запачкался. А я и за белых, и за красных помахал пашкой. Эх!.. Намахался! Бога мы потеряли или он



нас?! Как вспомню, что и те, и другие творили, так страшно становится. Жить страшно! Приходят они ко мне ночью. Все приходят! И я уже не разбираю, Егорушка, где красный, где белый... Варюшка со мной давно уже спать боится. Буйный, говорит, ты во сне. Да разве ж язык повернётся рассказать ей, почему я такой. Не пришёлся я к этой власти. Как говорится, не к шубе рукав! Эх, знать бы, Егор, как отблагодарит меня эта власть. Так, может, и не метался бы так!

– Думаешь, Василёк, если бы белые верх одержали, дали бы они тебе жить спокойно? – Егор усмехнулся и глянул на друга.

И вдруг по отсутствию напряжения, которое утратило это знакомое с детства лицо, он понял, что друга у него больше нет, что умер тот только что, буквально минуту назад, а может, и меньше.

«Упокоился, – подумал Егор, закрывая ему глаза. – Скорей бы пришла Варюшка. В последнюю дорогу пора собирать казака...»

P.S. Как-то я попросил мою бабушку, Варвару Илларионовну Воропаеву (в девичестве Гуенко), хоть что-то рассказать мне про деда. Та усмехнулась и, задумчиво глянув поверх моей головы, сказала:

– Про Ваську-то? Да что про него говорить? Рубака! Лихой был казак!

Что ж, и на том, как говорится, спасибо.

Сам я могу судить лишь о том, что отец мой, Владимир Васильевич, заметно отличался от всех своих родственников по линии Гуенко. Была в нём какая-то природная интеллигентность. Уж не виной ли тому Лизавета – дочь казачьего полковника, фамилии которого я так до сих пор и не знаю?



Из духовной поэзии

Качалась лодка у причала.
Сгущалась темень над водой.
По небосклону величаво
Плыл полумесяц со звездой.

И это сказочное диво
Затмило всё и вся окрест.
А я искала терпеливо
Над горизонтом Южный Крест.

Вот он, едва доступный взглядам,
Мерцает призрачным огнём,
Объятый заповедным сном –
Пока звезда и месяц рядом.

Но двум светилам быть в зените
Не век... И только Южный Крест –
Дорог земных путеводитель,
Небесный знак для этих мест.

Деревянная церквушка
На окраине села.
Чинно крестятся старушки,
Да звонят колокола.

И о чём теперь молиться?
Приближается страда –
Пусть пшеница уродится,
Да умножатся стада.



**ЕКАТЕРИНА
ПОЛУМИСКОВА**

Поэзия



Был бы сам Господь порукой –
Шли б дела не на авось.
Лишь бы правнукам да внукам
Сытно в городе жилось,

И всегда хватало б силы –
В радости и в скорбный час...
Так вот матушка-Россия
Вечно молится о нас.

Островок христианства –
Православная Русь.
Сквозь века и пространства
Я к тебе проберусь.
Отыщу непременно –
Ночью ль, днём ли с огнём,
На краю ли Вселенной,
Или в сердце моём.

Без тебя нет мне жизни,
И спасения нет
Милой сердцу Отчизне
По прошествии лет.
Заплутала дорога.
Почернели кресты.
Вот и вспомнили Бога,
В самый раз. Ну а ты...

Облаченная в латы,
Со щитом и мечом,
Искушенная златом



И простым кумачом,
Всё о лжи да коварстве
Слепо споришь с судьбой.
В тридевятое царство
Я приду за тобой.

Чтобы в новую эру
Ты шагнула, любя
Не теряющих веру,
Сохранивших тебя.
Чтоб узнала ты, где он,
Наш стремительный век.
Я – ни ангел, ни демон,
А простой человек.

О твоём возвращенье
Горячо помолюсь.
Так даруй мне прощенье,
Православная Русь.
Боже, дай же мне силы,
Сохрани и спаси
На пути из России
К православной Руси.

Вот взметнулись в небо
стаи с колоколен,
И коснулось солнце
сонных куполов.
Этот мир, наверно,
безнадёжно болен



И почти не слышит
звон колоколов.
И качнулись ветки
облетевших клёнов,
Разрывая в клочья
утренний туман
И стальную сетку
туч заговорённых...
Этот мир, наверно,
беспробудно пьян.

Гонит мысли ветер.
Нет конца похмелью,
А на сердце снова
мокрый снег с дождём.
И опять столетье
кончится метелью –
«Светопреставленья»
мы пока не ждём.

Нам не спутать только б
звяканье бокала
С колокольным звоном
плачущей души,
Что среди осколков
всё звезду искала
И звала к иконам:
«Верь да не греши!»

Жарится картошка,
закипает чайник,



И настольной лампы
чуть мерцает свет.
Только за окошком
жизнь течет случайно,
А задернешь шторы –
Жизни вовсе нет.
Вечер на Крещение
окунется в прорубь
И зажжет над миром
звезды-фонари.
И для нас прощенье
одичавший голубь
Принесет на крыльях
ледяной зари.

Пять квадратов рая,
да и мы – другие.
И на тесной кухне
думается мне:
Все мы прозябаем
в вечной летаргии
Или в ностальгии
вечной - по весне.

А весна синицей
в форточку ворвётся,
Только не найдется
подходящих слов.
И елей с сосуллек
каплями прольётся,
И коснется солнце
сонных куполов.



Пасха

Христос воскрес! – Воистину!
И смертью смерть поправ,
По лепестку, по листику
И по ковру из трав

Ступил на землю грешную,
Открыв дорогу в Храм,
Хмельной порою вешнею
Даря надежду нам.

И души наши, веруя,
Подснежниками первыми
Под купола небес

Тянулись с новой силою.
Христос воскресе, милые!
Воистину воскрес!

Ангел

В безумстве шумных площадей
Со мной ты, Ангел мой, навечно.
Прости, что голос твой беспечно
Храню я в сердце от людей.

Прости за то, что не прерву
Земной, порочной связи с ними,
Что никому не назову
Твоё спасительное имя.



Святого образа черты
Судьбой даны мне в утешенье.
Храни меня от суеты,
Даруя тайну посвященья

Той запредельной высоты,
Где неразлучны я и ты.

В храме

Нет на свете вопросов простых,
Если тайна души сокровенна...
Пред сияньем крестов золотых
Я глаза опускаю смиренно.
Как участливо проникновенны
И задумчивы лики святых!

Зачарованно слушая хор,
Я стою у Казанской Иконы.
Мне до боли знаком этот взор
Богоматери – русской Мадонны.
И летят колокольные звоны
В бирюзовый морозный простор.

И как будто я тоже лечу
Под расписанный купол куда-то.
Зажигаю с надеждой свечу.
Вдруг наполнился Храм ароматом,
Чуть смолистым, слегка горьковатым –
Вновь молитву тихонько шепчу.



В знак того, что когда-то посеяли «смуту»,
нынче манною с неба срывается снег.
И скорбим о былом...
Непривычно и дико.
Варшавянки мотив кто-то вспомнит не в лад.
И как будто не к месту алеет гвоздика.
И в Андреевском Храме к обедне звонят.

Казанский Кафедральный Собор (Ставрополь)

Православный собор на вершине горы
Был построен на век, простоял до поры,
До воронки взрывной и до «черной дыры»,
Что разбила сердца пополам.
Не случайный фугас и не вражеский ас,
А каких-то чиновников спешный приказ,
Чтоб чужих лишний раз не приковывал глаз
К златоглавым своим куполам.

Здесь за каждую улицу были бои,
И солдаты российские здесь полегли,
Защищая священные пяди земли.
Но тогда не считали потерь.
Взорван храм православный.
Который уж год
До собора никак не доходит черёд.
Без него «обезглавленный» город живёт,
Хочешь – верь, а не хочешь – не верь!

Там, где ели шумели, и кроны дубов
Заменяли на время нам сень куполов,

И трава под ногами молитву без слов
Шелестела залётным ветрам;
Там, где в южное небо упёрлась гора,
Между солнечным «завтра» и тёмным «вчера»,
Не былому назло, а во имя добра
Будет заново выстроен храм.

Троица

– Бабушка, ты Расскажи мне про Троицу,
Что был за праздник? И помнишь ли ты?
– Помню, как мы на заре за околицей
Рвали чабрец, полевые цветы.

– А для чего?
– Чтоб душистыми травами
Церковь в станице украсить и дом.
С девушками да с парнями кудрявыми
Шли хороводы водить.
– А потом?

– Помню, как мы возвращались из Храма,
Было веселье и шум дотемна,
И как яичницу жарила мама –
К счастью, тогда говорила она.

Помню, как веточки рвали с берёзы,
Ленты деревьям вязали из кос.
Были на Троицу сильные грозы,
Нынче таких не случается гроз.



Главное, в день тот, священник рассказывал,
Сходит на праведников благодать,
Чтобы далёкие, чуждые, разные,
Люди друг друга могли понимать...
В память о грозах столетья двадцатого,
С верой, надеждой, любовью, как встарь,
Скромный букетик с душистою мятою
В Храм православный кладу на алтарь.

Может быть, помыслов добрых слияние
Новой Вселенною станет для нас.
Да снизойдёт на людей понимание –
Ныне и присно, вовек и сейчас!

Перекресток

В России жить не так-то просто –
И для людей, и для вождей.
Россия – вечный перекресток
Религий, наций да идей.

Не счесть земных тропинок к Богу,
Не меньше будет их и впредь.
Напротив церкви – синагога,
А подле строится мечеть.

Душе лишь там не будет тесно,
Где истины струится свет.
В духовном мире, как известно,
Есть только путь – пределов нет.

И по неведомому краю
Иду с тобой, святая Русь.
Я веру предков выбираю
И от Христа не отрекись.

Но не кому-нибудь в угоду
И не назло кому-нибудь.
Лишь во Христе ищу свободу.
Он – Бог.
И Истина.
И Путь.



Линда

Повесть

I

Медовый месяц заканчивался. Костя или, как его называли, Котик, и Жанна, вдоволь насладившиеся свободой от лекций и семинаров, уставшие от нежной заботы друг о друге, радости глубокого погружения в столичные музеи, театры, ночные бары, уставшие от надоевших встреч с друзьями и родственниками, заторопились домой, в Пятигорск. Назвать медовый месяц полноценным было невозможно, так как он продолжался короткие зимние каникулы – всего две недели. Деньги, собранные организаторами свадьбы в качестве даров, безвозвратно улетели. Сто тысяч предательски растаяли, и Костик послал домой «эс-эм-эс-ку»: «Мама, папа, будем завтра восьмичасовым «Москва – Кисловодск». Мы. И - Зверь».

Поезд по неизвестным причинам (кажется, где-то случился теракт с подрывом предыду-



**АЛЕКСАНДР
МОСИЕНКО**

Проза



щего состава) задерживался на неопределенное время, и пришлось ждать детей не на вокзале, а дома, так как на дворе стоял собачий холод.

В девятом часу, вечером, раздался звонок у входной двери. Весь день волновавшиеся родители, не спрашивая «кто там?», заторопились открывать дверь.

– А где же зверь? – удивился отец, увидев стоявший у ног Кости баул.

– Он здесь, – залепетала Жанна, входя в прихожую. – Покажи, Котик!

Мать закрыла дверь и поочередно стала целовать сына и сноху. Костя, поставив баул на пол, полез к себе за пазуху, под шерстяной свитер, и оттуда достал щенка с длинными обвислыми ушами.

– Кокер-спаниель. Английская порода. С хорошей родословной. Купили на собачьем рынке.

– И сколько ж отдали? – спросила мать.

– Много. Но это не важно: главное – хорошая порода, красивая собачка. Мы назвали её Линдой.

Костик ещё держал щенка в руках. Мать погладила его, приговаривая:

– Новые заботы... Ну, ничего... Дети пойдут – будет живая игрушка. Да что это я разболталась. Проходите в свою комнату, переодевайтесь. Душ примите и будем ужинать. Мы без вас целый день за стол не садились.

Костик опустил Линду на пол и хотел было пройти в ванную, но та ухватила его своими мелкими зубками за штанину и не отпускала.

– Мам, возьмите Линдочку на руки, пока мы приведем себя в порядок, – попросила Жанна.

Василиса Ивановна взяла щенка и, прижимая



его к груди, ответила:

– Конечно, конечно. Правда, Линдочка?

А Линда с пониманием взвизгнула и успокоилась. Началась новая жизнь. С новыми заботами и проблемами.

II

Привыкшая к теплу Костика у него за пазухой, Линда никак не хотела расставаться с ним. Но ей отвели персональное место в прихожей, на мягком коврикe. Линда чихала на него в прямом и в переносном смысле. Едва молодые укрывались под одеялом, Линда, став на задние лапы, упиралась в кровать и потихоньку скулила, мол, возьмите меня к себе, смотрела умоляющими глазками-вишенками, издавая чихающий скулеж. Костя не выдерживал и брал её к себе под бок. Сначала она тихо лежала у него под мышкой, потом, освоившись, вылезала поверх одеяла и начинала лизать его щеки. Жанна таяла от этих нежностей и обращалась к Линде: «А меня, а меня?». Та снисходительно лизнет Жанну и – опять к Костику. Ему это надоедает. Он встает с постели, надевает штаны, Линде застегивает приготовленный заранее ошейник и со словами «гулять, гулять» выводит её во двор, на позднюю вечернюю прогулку. По возвращении в квартиру моет теплой водой её лапки, подводит к коврику и приказывает: «Лежать!». Она послушно ложится на коврик и следит за Костиком. Как только он уляжется в постель, Линда тут как тут, упирается мордочкой в кровать и как бы умоляет: «Пусти меня к себе». Но Костя непреклонен, подает команду: «Место, Линда, место!». Она без энтузиазма кладёт свою мордочку на передние лапки и, вздохнув, замолка-

ет. Жанна шепчет Костику: «Заснула». А он, начитавшись в интернете, рассказывает ей все подробности породы. Её родина – Англия, хотя сегодня она распространилась по всему миру. Окрас, который они с Жанной выбрали, самый известный – коричневый. А какая приятная шелковистая шерстка... Умеет отлично плавать. Настоящая охотничья, спортивная собака.

Под эту детальную информацию Жанна засыпает, а Костик останавливает свой поток речи и задумчиво смотрит в потолок: «А что будет со мной, когда появится собственный ребенок. Я от радости, наверное, сойду с ума».

III

Но ребенка, пожалуй, не будет. В первую брачную ночь Жанна призналась, что до Кости она была замужем. Это он, её муж, лишил её девственности. И когда она забеременела, он буквально силой заставил её сделать аборт. Мол, надо закончить университет, а потом думать о ребёнке. Впереди было ещё три года учебы. Жанна даже хотела бросить университет, только бы родить, но муж встал на дыбы:

– Ни в коем случае! Надо получить диплом, а потом – всё остальное.

Его поддерживала мать, которая не хотела брать на себя ещё и заботу о внуке или внучке, ей хватало одного сыночка да его «довеска» – Жанны. Так в восемнадцать лет она стала бесплодной женщиной-пустышкой. После аборта у неё что-то оборвалось. И в душе, и в теле. Она стала пассивна в постели. Ей было безразлично, кто у мужа в друзьях, когда он ночью возвращается домой, есть



ли у него другая женщина. И учеба пошла наперекосяк. Впервые у неё появился «хвост». На сессии она завалила античную литературу. То любила этот предмет, а тут всё стало безразлично – и Софокл, и Эсхил, и Данте. Так далеко и холодно.

Муж тоже изменился. Всё чаще приходил домой поздно и нетрезвым. «У нас был мальчишник. Что, я не могу пообщаться с друзьями?» – оправдывался он. Начинался скандал. «Но ты мог позвонить, сказать, где ты, когда ждать тебя?»

– Зачем звонить? Ты же знаешь, что я тебя люблю. А ты меня любишь?

– Нет, – отвечала Жанна.

– Как? Почему?

– Потому что ты плохо ведешь себя!

– Я плохо веду себя? Да я идеальный муж. Подарил тебе отличную свекровь, которая кормит-поит тебя, стирает твои памперсы.

– Дурак. Памперсы не стирают, их выбрасывают. Это деталь для детей и престарелых, а я ещё...

Жанна начинала плакать. Он швырял всё, что попадалось под руки, и уходил.

Однажды утром он пришёл в очень хорошем настроении, подсел к ней и спросил прямо в лоб:

– Ты меня любишь?

– Нет! – всё так же твердо ответила она.

Он вскочил, вынул из штанов пистолет и приставил его к виску.

– Отвечай – любишь? Или я тебя пристрелю.

– Нет, нет! – истерично закричала Жанна и через мгновение добавила: – Я тебя ненавижу!

Муж молча опустил на диван, все ещё держа в дрожащей руке пистолет. Потом засунул его за пояс брюк и тяжело вздохнул:



– Вот теперь всё ясно.

В тот же вечер Жанна, в чем была, ушла к матери. Развод прошел мирно, к удовлетворению обеих сторон.

Ему – хотелось вновь думать только о себе, ей – забыть свои унижения... Унижения поступками, словом, бездельем, но особенно она не могла простить ему нежелание иметь ребенка, фактически – убить его.

Почти весь семестр Жанна была в глубокой депрессии. Было обидно: для кого она берегла себя? Красавец? Да. Эгоист? Самый отъявленный. Великовозрастный маменькин сынок? Мягко сказано. Он ничего не мог делать по дому. Любимым его словом было с раннего детства – «дай».

– Мапочка, дай на пистолетик.

– У тебя же их сто штук.

– Такого, как у Веньки, нет.

– Мапочка, у меня сегодня клуб. Дай зелененькую.

Отказа не было. А он проигрывал в карты. Выпивать начал. К утру домой приползал – денег на такси уже не было. И снова:

– Мапочка, дай на «фирмовые» джинсы.

– У тебя же есть. Итальянские.

– Хочу американские.

– Вот расточитель.

– Ты же любишь расточителя?

– Лиса ты, вот кто. Ладно. Ладно. И больше не проси.

Было б сказано. Всё повторялось. И мать не знала, что делать, как скрыть от мужа незапланированные расходы.

– Надо женить его, пока совсем не сел на шею.



Может, став мужем, будет серьёзнее, ответственнее, – размышляла она в одиночестве.

Так, используя все свои связи юриста, она нашла достойную кандидатуру – студентку-филолога, Жанну, девушку из хорошей семьи – мать торговый работник, отец – доцент вуза.

Жанна «клянула» на его внешние данные, не рассмотрев истинной природы. А потом всё пошло, как пошло.

Не сразу оклемавшись от развода, она всё же нашла в себе силы жить нормально, как все молодые подружки. И тут на параллельном факультете ей встретился Костя, Котик.

Она долго не рассказывала ему о своем бывшем замужестве, – паспорт у неё теперь был чист, без известных записей. Особенно боялась она говорить о трагедии с ребенком. Вдруг Котик охладет, узнав подробности, и тогда без него жизнь потеряет всякий смысл. Ведь у них уже сложились теплые отношения. Она по-настоящему влюбилась в него. Костя внимателен, хорош собой, даже лучше её бывшего мужа. У него золотые руки. Он всё умеет – от ремонта в квартире до приготовления азиатского плова, шашлыка и десятка видов котлет самого высшего качества – пальчики оближешь.

Жанна не могла не признаться Косте в своем «грехе», Один Бог знает, сколько она пережила. Но её Котик не изменил своего отношения к ней. Он даже убедил её, что у них обязательно будут дети. Он так хочет этого. И Жанна, тоже очень хочет, только сомневается в своем здоровье.

Покупая Линду в Москве, Костя как бы подавал Жанне надежду, вселял веру – всё будет хорошо. «Давай беречь друг друга». И уже сейчас их креп-

ко связывала не только любовь, но и это милое существо – кокер-спаниель Линда.

IV

Она росла не по дням, а по часам. Концы её длинных ушей лихо кучерявились, глаза становились крупнее, выразительнее, всё понимающими. Она усвоила основные команды – «место, рядом, сидеть, нельзя, ко мне, дай лапку». Пищу принимала по шутиливой, но для неё серьёзной команде – «кушать подано». Но из всех команд для неё была самая любимая – «гулять». Она знала, что за нею последует полная свобода перемещения в пространстве двора, леса. Поэтому, уже сидя у двери в ожидании выхода, она нетерпеливо повизгивала, легко давала Косте прикрепить поводок к ошейнику и в следующую минуту тащила хозяина вниз по ступенькам так, что он едва удерживался на ногах. Потом, уже на парковой собачьей площадке, освободившись от поводка, без усталости носилась по кругу. Набегавшись вдоволь, ложилась у ног Кости, высунув мокрый розовый язык, и ожидала новой команды.

Уже дома, во время мытья измазанных лапок, она умудрялась лизнуть руки Кости и даже щеку.

У Линды было необыкновенное чутье на плохих людей. Как бы они к ней ни подлизывались, она не позволяла себя гладить по холке, на тех же, кто пытался это сделать, угрожающее рычала.

Как-то пришёл сосед Славик, зубной техник. Пришёл по каким-то житейским делам. Увидев Линду, разразился сентиментальными похвалами:

– Какая красивая собачка. Иди ко мне. А какие у



неё чудные зубки.

Линда оскалилась. Славик профессиональным жестом показал, что ему все доступно и хотел было коснуться её челюсти, как та в ответ тяпнула его за правую руку.

– Чтоб ты сдохла! – возмутился стоматолог и попросил у хозяйки йод и вату. Так и ушел домой, не сказав Косте о причине своего визита.

Жанна начала ругать Линду за плохое поведение. Та улеглась на свой коврик и безмолвно моргала обиженными глазками.

– Нельзя так, Линдочка, – продолжала увещевать её Жанна. – Это хороший человек: он мне пломбочку поставил на больной зуб.

Оказалось, это был не очень хороший человек: оставив троих детей, он ушёл от них и жены к другой женщине. И Линда слышала, как бабы во дворе ругали его непотребными словами, когда он проходил мимо. Неужели она понимала их ругань? Кто его знает. Только это не единичный случай.

Перед домом, в котором жили Жанна и Костя с родителями, был большой пустырь. Открытый, поросший бурьяном, солнечный. Мать-одиночка из дома напротив, которой, видно, жилось тяжело, имея двух сыновей десяти и одиннадцати лет, договорилась, чтобы ей привезли сюда хорошей земли. Привезли целый самосвал. Весь день женщина со своими мальчиками разгребала эту землю, делая грядки, а на следующее утро принесла с базара рассаду томатов, с помощью сыновей посадила её, надеясь на собственный, непокупной, урожай. И когда уже собиралась уходить, появилась расфуфыренная особа, жена доцента-филолога, и



закричала на мать-одиночку:

– Вы кто такая?

– А вы? Почему вы задаете мне такой вопрос?

– Потому что в нашем доме таких нет!

– Я из дома напротив. Там нет свободной земли, а здесь пустырь заброшенный.

– Идите отсюда немедленно и уберите свою посадку.

– Женщина, я ж целых два дня здесь работала, никакого вреда.

– Уходите отсюда. Я сказала – уходите!

– Василиса Ивановна, посмотрите: дама с чужого двора под нашими окнами огород развернула, – обратилась жена доцента-филолога к матери Кости, вышедшей с Линдой на прогулку.

– Она вам что – мешает? – ответила Василиса Ивановна.

– Да, мешает. Тут должны быть цветы, а не капуста с помидорами.

– Под вашим окном есть свободная поляна, вон – посмотрите. Вот и сажайте там цветы.

– Я сама знаю, что мне делать. А чужим не позволю.

С этими словами буйная доцентша стала выдергивать рассаду с грядок и бросать её в сторону.

– Что вы делаете? – возмутилась Василиса Ивановна.

– Что надо, то и делаю. Пусть идёт к своему дому.

– Женщина, – остановитесь.! Неужели не видите: у меня дети... зарплаты не хватает.

– Я сказала – всё: идите и сажайте у себя во дворе.

– Ну нельзя же так... бесчеловечно, – ещё раз



попыталась призвать к милосердию эту разбушевавшуюся собственницу Василиса Ивановна.

Но та продолжала выдергивать из земли только что посаженную рассаду томатов, повторяя: «Идите в свой двор и сажайте что хотите, хоть апельсины...»

Женщина взяла своих мальчиков за руки, заплакала и, отойдя метров десять, бросила сквозь слезы:

– Подавитесь вы своей землей!

Доцентша услышала «комплимент» в свой адрес, подбежала к женщине, схватила её за грудки и заорала:

– Намусорила, нахамила и ещё оскорбляет. Я те покажу.

Она рванула женщину за кофточку, рукав которой распоролся, и готова была убить её, но тут подошла Василиса Ивановна и почти вполголоса:

– Ольга Павловна, перестаньте. Не позорьте себя и мужа.

И хотя Линда была на поводке, она ухватила скандалистку за юбку, как бы отгаскивая от жертвы. – Ух, ты, моя красавица, – убавив звук речи, переключилась гневная соседка к Линде. – Отпусти меня. Я тебе никакого вреда не сделаю.

А женщина с двумя мальчиками медленно брела домой. Линда же с той поры до конца своей жизни каждый раз при виде этой самой соседки Ольги Павловны начинала агрессивно рычать.

V

Выйдя замуж за Костю, Жанна наконец-то почувствовала себя настоящей женщиной: её любят, ей дарят цветы, о ней заботятся, с ней делат-



ся своими суждениями о жизни, об искусстве, ей помогают во всем. Она освободилась от «хвостов» по античной литературе, по устному народному творчеству. Всё нормализовалось благодаря ему, её любимому Костеньке. Как хорошо им вдвоём. Нет, троём. С ними же постоянно красавица Линда. Поднимаются ли они на вершину Машука, купаются ли в Ново-Пятигорском озере – она всегда рядом. Так быстро она выросла. На прогулке она сверхактивно играет с мячом, приносит выброшенную вперед палку, общается с настоящими друзьями хозяев и рычанием своим отвергает тех, кто Костик или Жанне неприятен.

Уходя в университет на занятия, они оставляли свою любимицу под присмотром Василисы Ивановны. И Линда точно знала время, когда ребята должны вернуться домой. В ожидании она садилась перед входной дверью и пристально смотрела на нее, как в зеркало, прислушиваясь к шагам по лестнице, каждый раз точно угадывала, что это шаги её хозяев.

Едва открывалась дверь, Линда, виляя своим куцым хвостиком, прыгала во всю прыть и добивалась, чтобы её брали на руки, а она обязательно с благодарностью лизала их руки и лица.

Закончилась учёба в университете. Костя и Жанна в третий раз отправились в горы, в спортивно-оздоровительный лагерь. И, конечно же, взяли с собой Линду. Она радовалась езде в автобусе или в кузове грузовика. Там были люди, которые принимали её, как свою, и она по-свойски отвечала им. А в лагере для неё были идеальные условия: лес, поляны, озеро, реки. Было где разгуляться. Костик и Жанна брали её с собой не только в поход



за грибами, но и в дальние вылазки.

Как и во всякой молодой семье, должна случиться хоть маленькая ссора. У них она произошла через год совместной жизни. Как-то они возвращались из леса в лагерь. Им встретилась небольшая группа отправляющихся в лес туристов. У них в соседнем лагере, видно, был другой распорядок дня. И вот одна из девушек группы, не обращая внимания на Жанну и тем более на Линду, радостно бросилась на шею Косте, стала целовать его и приговаривать: «Ну, Кот, ты где пропал? Я тебя сто лет не видела. Рассказывай – как, что... нельзя же так надолго пропадать».

– Да не пропадал я. Учился. Только что закончил.

– Возмужал ты как. Небось от девок отбоя нет?

– Это уже не актуально – я выбрал. Вот. Знакомься – жена.

– Жанна.

– Марина, – без видимого желания знакомиться дальше произнесла знакомая Костика, глядя ему в глаза.

– Приятная девчонка. Впрочем, отсутствием вкуса ты никогда не страдал.

– Ладно, Марин. За комплименты спасибо, а мы пошли. Будет настроение, заходи к нам. Мы в одиннадцатом домике.

– Обязательно зайду, – пообещала Марина и снова начала целовать Костю, произнося: «До чего ж приятно встретить здесь родную душу».

И тут Линда ухватила Марину за шорты, как бы говоря: «Выметайся отсюда – не твоя поляна».

– Линда, нельзя. Ко мне, Линда! – приказала Жанна, но та не слушалась и по-прежнему оттяги-

вала нагловатую туристку. Вмешался Костик.

– Линда, рядом! Сидеть!

Его команда возымела действие: Линда оставила в покое нагловатую подружку Кости.

– Ну, пока, Марин, заходи. Будем рады.

Через несколько минут после того, как группа из соседнего лагеря двинулась в лес, Жанна, нахмурившись, спросила:

– А что это ты приглашаешь, не спросив меня? Может, я не хочу её видеть...

– Жан, ты что? – удивился Костя. – Это ж этика туристов.

– Зачем мне такая этика, когда у меня на глазах уводят мужа?

– Жан, успокойся. Никто никогда не уведет меня, если я сам того не захочу.

– А я не уверена, что ты уже не хочешь. Ты не обратил внимания, какими глазами она смотрела на тебя?

– Нет.

– А мне со стороны всё видно.

– Жан, зайчик, давай не будем, а. Это ж просто товарищеская встреча. Мы с Маринкой по-мальчишески дружили ещё с седьмого класса. Вместе ходили в походы, танцевали вокруг костра, перепели сотни песен. И тут - приятная встреча - три года не виделись. Я тебя прошу: давай не будем. Это не стоит нашей с тобой любви и дружбы. Договорились? Жанна кивнула головой и правой рукой вытерла набежавшие слезы.

– Вот и хорошо, мой зайчик. Мир?

– Мир.

Они расцеловались и друженько пошли в лагерь. Впереди – всё понимающая Линда.



VI

После ужина была дискотека. Вдоволь натавцевавшись там, они пришли в свою двухместную комнату. Здесь они были свободны от посторонних глаз и ушей. Подвинув две кровати друг к дружке, они сделали семейный уголок и, как говорится, оттянулись по полной программе. Немного отдохнув, Костя снял с гвоздя на стене свою гитару и спросил:

– Чего тебе сыграть?

– «Виноградную косточку» Окуджавы.

– Только я буду вполголоса – все уже спят.

Пальцы побежали по струнам, и Костя запел:

*Виноградную косточку в землю зарю,
и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,
и друзей созову, на любовь своё сердце настрою.
А иначе зачем на земле этой вечной живу?*

Жанна прижалась к Костику и тихо подпевала ему, чтобы не разбудить соседей. Какая наивность полагать, что «все уже спят». Это ж в каком таком лагере после отбоя туристы спят? Жанна сама не заметила, как стала подпевать всё громче, а через минуту услышала дружные голоса за стеной и чей-то призыв: «Кот и Жанна, выходите на порог и попойм все вместе!»

Жанна охотно набросила на плечи халат – ведь ночи холодные, – Костя надел шорты и с обнажённым торсом, как настоящий мужик, вышел на порог, прихватив гитару. Вместе с ним Линда и Жанна. Тут же во весь голос под аккомпанемент гитары полились другие песни любимого барда. С особым энтузиазмом запели «Чёрного кота» –

внешне шутливую, а по сути, – философскую песенку:

*Жил да был черный кот за углом,
И кота ненавидел весь дом.
Только песня совсем не о том.
Как охотился двор за котом.
Говорят, не повезет,
Если черный кот
дорогу перейдет, –
А пока наоборот:
Только черному коту и не везет.*

Последнюю строчку повторяли по несколько раз, дружно смеялись, будто себя примеряли к «невезучему коту». Так в одном порыве собравшиеся у порога одиннадцатого домика исполнили почти весь репертуар Окуджавы и незаметно перешли к Юрию Визбору. Несмотря на то, что дежурный по лагерю уже третий раз пытался всех отправить ко сну, ничего не получалось, да и он сам, заслушавшись, забывал о служебном долге.

А ребята пели «Лыжи у печки стоят», а потом –

*Вот это для мужчин –
Рюкзак и ледоруб,
И нет таких причин,
Чтоб не вступать в игру.
А есть такой закон –
Движение вперед,
И кто с ним не знаком,
Навряд ли нас поймет.
И нет там ничего –
Ни золота, ни руд.
Там только-то всего,*



*Что гребень слишком крут,
И слышен сердца стук,
И страшен снегопад,
И очень дорог друг,
И слишком близок ад.*

Так получилось, что собравшиеся не только не разошлись по своим номерам, но, наоборот, собрались здесь почти всем лагерем, принесли ещё одну гитару и с упоением пели Владимира Высоцкого – его «Охоту на волков», «Здесь птицы не поют». «Если друг оказался вдруг». И весь этот импровизированный концерт длился до двух часов ночи. А завершился он опять же соединяющей поколения песней Окуджавы: «Возьмемся за руки, друзья, Возьмемся за руки, друзья, Чтоб не пропасть поодиночке».

... Спать не хотелось. Было так хорошо на душе, что сон сам собой куда-то убежал.

– Костик, давай перед сном немного ещё погуляем. Ты посмотри, какая ночь! Звезды, будто их кто-то тщательно вымыл: чистые-чистые и лукаво подмигивают – то ли мне, то ли тебе. А вон: смотри – сорвалась и летит к земле. Быстро загадай желание! Обязательно сбудется. Успел? Я успела: я загадала на ребёночка. Если долетит до вершины Ткачихи, значит, у нас будет ребёнок. Представляешь, долетела! И скрылась за вершиной. А что ты загадал?

– Ты не поверишь, но я загадал то же самое. Я хотел бы сына.

– Котик, ты – прелесть. Смотри: вон ещё падает звезда. Но не будем загадывать других желаний.

– Не будем, – ласково ответил Костя. – А зна-

ешь, зайчик, мне в четыре часа надо вставать.

– Чего ради?

– А ты забыла – я же обещал тебе раненько сходить на рыбалку и к завтраку приготовить царской форели. Еще вчера я заготовил баночку рачков – очень хорошо на рачков клюет – и все остальные снасти. Так что хоть полчасика мне надо поспать. Правда же, Линдочка. Она понимающе взвизгнула и потерлась о ногу Кости.

– Тогда пошли. Ещё налюбujemy ночью: целая неделя впереди.

Костя молча поцеловал Жанну, и они пошли в свой домик.

VII

И все-таки на полчасика Костя сумел вздремнуть, чувствуя под боком тепло жены. Потом аккуратно встал, взял все необходимое для рыбалки и тихо вышел из комнаты. Они шли по известной тропе вдоль Дамхурца: впереди Линда, вслед за ней – Костя. Примерно в трех километрах от лагеря в верхнем течении реки они спустились к воде, выбрали поудобнее место и устроили основную точку лова. Светало. Очертания гребня леса и оголенных скал было плохо видно. Но удочка брошена в быструю глубокую воду, на поверхности которой светился оранжевый поплавок. Бывший не раз на рыбалке, Костя устроился на большом камне, омываемом чистой водой, рядом с ним, как всегда, сидела на специальной подстилке из паралона Линда. Утро было сухое, чистое, без тумана и дождя. Уже через пять минут на первой удочке дернулся поплавок, Костя сделал подсечку и в следующее мгновение снимал с удочки краса-



вицу форельку с золочеными симметричными дорожками по бокам. Он положил её в целлофановый пакет с водой, устроенный между двух камней. Через пять минут клюнуло и на второй удочке. Потом снова на первой. Незаметно в пакете уже трепыхалось около десятка форелей.

Костя радовался удачному лову и уже предвкушал, с каким удовольствием он будет угощать свою жену жареной царской рыбкой. И вдруг Линда тихо прижалась к нему, как бы ожидая опасность, с которой ей самой не справиться. Костя оглянулся, а там, сверху, на высоком берегу Дамхурца показалась большая группа людей – человек двадцать пять. Присмотревшись, он увидел, что все они были в камуфляже, с автоматами на груди. Это был не сон, а настоящие боевики, которые, перейдя перевал Пхия, спустились в одноименный посёлок, захватили местный грузовик, на нём приехали в лагерь и отсюда, как стало известно позднее, шли в Абхазию через Дамхурцкий перевал.

Костя, чтобы себя не обнаружить, сидел неподвижно на своем камне, но его заметили. Боевик из этой колонны быстро спустился к нему и на ломаном русском языке спросил: «Клюёт?»

– Клюет, – был ответ.

Заросший мужчина быстро схватил пакет с форелью.

– Курить есть?

Костя молча подал пачку сигарет. Мужчина вынул одну, помял ее и сунул в рот.

– Спичка есть?

Костя подал зажигалку. Тот прикурил, как и пачку сигарет, сунул зажигалку в свой карман.

– Амне?

Мужчина щелкнул затвором автомата и, усмехнувшись, спросил: «Это?»

– Нет, нет, бери, пожалуйста.

– Вот то-то, – с той же усмешкой сказал боевик и побежал к отряду.

За всю эту сцену Линда не шелохнулась, только когда боевик щелкнул затвором автомата, она оскалила зубы и робко прорычала. Костя не знал теперь, продолжать ли ему ловить форель или возвращаться в лагерь. Сегодня уже точно угощения царской форелью не будет.

И тут он увидел, как боевик возвращается к нему. Что он придумал? Чего ему ещё надо?

– Удочка давай. У нас людей много, а твой форель – мало.

Костя молча передал обе удочки, ожидая новой выходки боевика. И тот задал ещё один вопрос:

– Пириманка есть? Пириманка давай.

Костя передал ему баночку с рачками и тот побежал догонять свой отряд.

VIII

После ограбления Косте ничего не оставалось делать, как вернуться в лагерь, притом без подарка жене. Благо, что все осталось без более тяжких потерь.

Можно было бы перейти вброд на другой берег и набрать малины – там её сколько хочешь, даже медведям хватает. Они очень её любят. Но у Кости не было никакой посуды и потому он, обращаясь к своей постоянной спутнице, сказал:

– Так, Линдочка, придется возвращаться в лагерь, домой.



Последнее слово она давно усвоила и оттого радостно завилыла хвостиком.

– Идём, идём, – подтвердил Костя и похлопал её по холке, а она умудрилась лизнуть его в щеку.

Они вернулись в лагерь к завтраку. Все отдохнувшие были взволнованы ночным визитом боевиков, которые появились в лагере к тому моменту, когда закончился импровизированный концерт у одиннадцатого домика. Боевики наполовину опустошили столовую, вернее – её склад: забрали хлеб, часть овощей, мяса и направились за перевал, где их ждала такая же матёрая группа противников режима. Но это уже другая тема.

Возвращение Костика и Линды Жанна встретила с радостью.

– Я так боялась, что они вас поубивают. Слава Богу – пронесло. Никуда вы без меня больше не пойдете. Ясно? Вот. У меня предложение: после завтрака пойти на Лабу и там покупаться, позагорать. Пойдет?

– Пойдет, – с удовольствием согласился Костя, ни слова не сказав о форели.

... Был чудесный солнечный день. Они нашли укромное место вблизи воды. Купались, загорали. Приятно было нырять в ледяную воду, потом лежать на взятом с собой покрывале. Вспоминали вчерашний вечер с песнями. Какая сила в них! «Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке».

Они лежали рядом, тут же была их Линдочка. Жанна разомлела и время от времени поворачивала своё тело к солнцу то одной, то другой стороной. Костик всё же через каждые пятнадцать минут вместе с Линдой бегал к Лабе. Мокрые, они воз-



вращались на свое «лежбище».

– Жан, неужели не хочется окунуться? Жара такая.

– Не хочу.

– А чего же ты хочешь?

– Я тебя хочу.

После этих слов Костик лег рядом с Жанной. Его мокрое тело коснулось разгоряченного под солнцем тела жены. Он начал обнимать её, целовать, а в это время, насторожившись, залаяла Линда.

– Кто там? – спросил Костя, она повторила свой лай.

– Кто там? – удивилась Жанна.

– Вот вы где. А это мы, – очень уверенно ответила Марина, появившаяся здесь с парнем. – Ищем тебя, ищем и никак не найдем.

– Что случилось? – спросил вставший на ноги Костя.

– Очень интересное событие: оказалось в нашем, соседнем с вашим, лагере целых четыре одноклассника. Ты – пятый. Все женатые, замужние.

– И кто ж там? – поинтересовался Костя.

– Милка Белкина, Вика Горбатова, Сонька Загорская. Все с мужьями.

– Вот здорово! – обрадовался Костя, поднимая за руку лежавшую до сих пор Жанну.

– Здорово-то здорово, но мы решили сделать ещё здоровее, – вставила Марина. – Представляешь: без мужей, без жен отправимся с ночлегом на Петушки, а ты у нас будешь вождём. Как в школе, помнишь?

– Марин, а почему – я? Почему без жен, –



недоумевал Костя.

– Слушай, Кот, ты что совсем отупел, женившись? Это ж какой кайф! Без обязательств, ни перед кем не отвечаешь. Глубокая ночь, звезды, а мы – четыре девки и один ты на Петушках, у маленького-маленького костерчика. Все замерзли и поём песни, и на всей планете нас никто не видит и не слышит, кроме нас самих.

– Нет, нет – без Жанны я не пойду.

– Я так и знала, что его не вытащишь на такую операцию... Полюбуйся. Вот Петька, Сонькин муж. Он отпускает её. Ты ж отпускаешь, Петь?

– Конечно.

– Нет, Маринка, я такое не позволю, – твердо заявила Жанна. – Не позволю – и всё!

– Ух ты какая собственница. Ладно, Костенька... Предложение сделано. Есть ещё время до вечера подумать. Бывай.

– Это все у тебя такие наглые друзья? – спросила Жанна, когда Марина скрылась в зарослях леса

– Нет, не все. Правда, Маринка со школьных лет была авантюристкой. Помню, как-то раз...

– Хватит. Я не хочу о ней ничего слышать. Если ты уже решил идти с ней на эти Петушки – пожалуйста. Скатертью дорога.

– Жан, ну что ты так остро все воспринимаешь? Я же ничего не обещал. Ни на какие Петушки я не пойду. Правда, Линдочка?

Линда завилыла куцым хвостиком и как бы согласно подвыла: «И-у».

– Вот видишь: Линдочка тоже не хочет, чтобы я уходил без тебя на целые сутки. Знаешь, Жан, я завтра снова пойду на рыбалку, возьму у Виктора удочки и пойду. Хочешь, и тебя возьмем?

– Поживем – увидим, – ответила Жанна и тихо заплакала – слишком оскорбила её школьная подруга мужа.

Костя был рад, что Жанна согласилась идти с ним на рыбалку. Он, как и в прошлый раз, тщательно подготовился. Во-первых, наловил в Дамхурце рачков для приманки. Они водились под каждым камнем в воде. Стоило перевернуть его, как обнаруживается пять-шесть присосавшихся рачков. Снять их не составляло труда. Костя поместил их в пол-литровую баночку с водой и закрыл капроновой крышкой. Готово. Ничего другого не надо. Осталось главное – удочки. Инструктор лагеря Виктор Анатольевич дал «напрокат» свой спиннинг. Это лучше удочек. Костя расписывал Жанне, какой улов они принесут завтра. Можно будет даже пригласить гостей на жареную форель.

– Только не зови, пожалуйста, эту Маринку, – попросила Жанна. – Я сразу заметила, что она хищница. С дальним прицелом. Кстати, а где её муж?

– Обьелся груш. Разбежались они. После него пожила она ещё с одним типом и выгнала. Это, по слухам. А как на самом деле, я не знаю. Вообще-то, она классная девчонка - нигде не пропадет. У неё все схвачено: пока другие раздумывают, она уже приняла решение.

– А что ж ты не выбрал её?

– Не мой профиль.

– А я – твой?

– Мой, мой! – подтвердил Костик. – Я это сразу понял при нашей первой встрече с тобой. Знаешь: сразу искра пробежала по телу.



Они сидели на скамейке у своего домика. В руках было всё приготовленное для рыбалки. У ног Костика неизменно сидела Линда. По каким-то, только ей понятным причинам, она насторожилась и громко залаяла. Всё стало понятным, когда из-за домика появилась Марина.

– Привет, рыбак, – произнесла она с такой интонацией, будто он здесь был один. – Представляешь, Костя, начальник лагеря без тебя не выпустил нас в поход. Нужен, говорит, хотя бы один мужчина. Выручай.

– Я, кажется, уже сказала тебе: никуда Костик не пойдет, тем более что мы собираемся завтра на рыбалку.

– Жан, Кот – мужчина, и он сам принимает решение.

– Марин, я уже принял решение: мы идем на рыбалку. С Жанной!

– Такой ты, значит, друг. Где ж твоя солидарность? Бросил своих одноклассниц на произвол судьбы. Не ожидала, не ожидала.

И тут вступила Жанна, встав со скамьи. Она подошла ближе к назойливой Костиной однокласснице и четко произнесла:

«Ну, что ты лезешь в нашу семью? Ты чего здесь забыла? Сказано тебе: мы идем на рыбалку. И как-нибудь без тебя справимся.»

– Да-а. Вот это, Котик, она захомутала тебя. Железной хваткой. Прощай, мужчина.

– Марин, правда, шла бы ты в свой лагерь и подыскала себе там другую кандидатуру.

Как бы подтверждая эти слова, Линда громко прорычала на нежданную гостью.

– Давай, Марин, ещё не поздно. Все. Ясно тебе?

– Ясенько. Вот ты какой оказывается.

– Какой есть. Другим не буду.

Развернувшись на сто восемьдесят градусов, Марина крутнула перед самым носом сидящего на скамье Кости своим вызывающим тылом, едва вмещавшимся в плавки, в которых она явилась сюда, и пошла, выписывая недвусмысленные фигуры женского пилотажа.

– Она доконает меня, – выдохнула после долгого молчания Жанна.

– Брось ты расстраиваться, – успокаивал её Костя. – Жизнь коротка и грех её ещё сокращать из-за такой глупой ситуации. Ты же видела, что я послал её подальше, и она пошла.

– Эх, Костик, ты не знаешь женщину как такую. А эту – тем более. У неё – цель. Коварная цель. И она её достигнет. Только потом и тебя кинет, как своего последнего сожителя.

– Жанночка, милая, не говори так. Я люблю только тебя, и только с тобой для меня жизнь есть жизнь. Верь мне. Это очень серьезно.

Прямо здесь, на скамье, на виду у прохожих, стал страстно целовать её. Какой-то шутник выкрикнул:

– Горько!

Прохожие поддержали и начали, как на свадьбе, считать: «Раз, два, три, четыре, пять». Они, наконец, встали со скамьи и друженько ушли в свою комнату.



X

Рассчитывая вернуться к обеду, они взяли с собой сухой паёк на завтрак и зашагали вверх по Дамхурцу, только теперь – левого берега. Так решил Костя. Он, правда, не сказал Жанне, почему. Просто этот маршрут значительно сокращал шансы встретиться с новыми боевиками. Как передала радиостанция «Северный Кавказ», та группа, с которой слегка столкнулся Костя, уже за перевалом была обезврежена федералами. Для новых боевиков все каналы проникновения в Абхазию были прочно закрыты, так что «ловить рыбку большую и маленькую» было совсем безопасно. А она клевала хорошо: уже к половине девятого Жанна насчитала пятнадцать форелей. Костя был в резиновых бахилах, взятых у того же инструктора, и потому смело заходил на середину реки. К нему несколько раз порывалась Линда, но быстрая вода относила её в сторону. Костя был настолько увлечен ловлей, что забыл про свою любимицу, которая, несмотря на быстрое течение, так рвалась к нему.

– Линдочка, не мешай Костику, – просила сидевшая на бревне Жанна, но та не обращала внимания на уговоры и делала попытку за попыткой подплыть к нему. И когда он перешёл к самому глубокому месту, Линда наконец оказалась рядом. Но её тут же схватило потоком и понесло вниз по течению. Костя тот час же бросился на выручку. Вода бросила её к скоплению бревен и сухих веток, где она сильно поцарапала живот, сосцы. С трудом Костя пробрался к ней, взял её под мышку и вынес на берег, по которому бегала взад-вперед Жанна.



– Держи её и не мешайте мне, – попросил он Жанну. – Скоро будем завтракать. Я ещё парочку поймаю и на сегодня хватит.

– Конечно, Костик. Ты же насквозь промёрз в этой воде.

– Ничего. Бахилы теплые, и я в теплых носках.

– А Линда замерзла – видишь: вся дрожит.

– Вытри её моей майкой и спокойно посидите. Я скоро. Можешь готовить завтрак.

Костя тут же пошел обратно к быстрине потока, на ходу разворачивая спиннинг. Там была наибольшая вероятность пребывания форели. А между тем Линда, сидя на поводке, прикрепленном к сучку этого могучего бревна, всё рвалась к Косте. Вскоре у него на крючок спиннинга попала самая крупная из пойманных в этот день форелей, и Костя, радуясь, вышел с ней на берег, опустил её в бидончик к остальным, попавшимся на его крючок. Потом снял с себя бахилы, шерстяные носки и босиком прошёлся по земле.

– Ноги отекают, стоя в воде. Ну, как, Жаннета, у нас улов?

– Здорово! Двадцать две штуки! Молодцом. Давай завтракать. Меню: бутерброды, сгущенка, чай. Я же термос с собой взяла. С горячим чаем. А форель будем есть в лагере.

– Золотце ты мое, – довольный женой, ответил Костя. – Я тебя обожаю!

Завтракали на могучем старом бревне, брошенном когда-то лесорубами. Бревно было и столом, и сиденьем. До чего же приятно под неумолчный шум Дамхурца сидеть вот так с любимым человеком, смотреть ему в глаза, как в самое сердце, и банально пить чай, сдобренный свежей лесной



малиной.

Солнце выползло из-за гор и приятно припекало спину. Уже просохшая, дисциплинированная Линда терпеливо ожидала своего завтрака. Жанна раскрыла для неё печёночный пакетик, выложила содержимое на одноразовую тарелочку и поставила перед Линдой. Та сперва поглядела на Жанну, потом – на Костю, как бы спрашивая разрешения, и, не спеша, стала есть.

– Молодец! – похвалил её Костя. – Воспитанная девочка.

А она ела и вибрировала куцым хвостиком, подчеркивая полное понимание хозяев.

Позавтракав, ребята ещё около часа позагорали, купались в Дамхурце, потом, уложив все в рюкзак, в том числе и бахилы, пошли по дороге, укатанной тяжелыми лесовозами, в лагерь. По пути рвали поспевшую малину, с килограмм собрали в целлофановый пакет. Можно будет сварить божественный компот, который не подадут нигде в мире.

Дорога то поднималась, то опускалась, и вот ребята оказались у развилки, на которую утром не обратили внимания. Шли и шли себе. А развилка, как в сказке: одна дорога ведёт вправо, другая – посередине и третья – влево. Все хорошие, накатаные. По какой идти? По логике вещей, следовало бы идти по правой, так как она ближе к реке, хотя её шума не слышно. И Костя повел по ней. Жанна шла следом. Уже метров через пятьдесят обнаружили, что Линда осталась на развилке. Как ни звал её Костя, она неподвижно лежала на дороге. Ребята вернулись к ней и Костик, подняв её на руки, обнаружил на животе большую цара-

пину, которую Жанна видела ещё на поляне. Достав из рюкзака зеленку, он ваткой обработал царапину и поставил Линду на ноги. Потом командовал:

– Пошли. Заживет как на собаке. Ой, Линдочка, извини – просто заживет. Ну, пошли.

И он повел их по левой дороге, полагая, что это самая правильная дорога. Однако Линда по-прежнему оставалась у развилки. Легла на живот и – ни с места. Вернулись.

– Она, наверное, заболела, – взволнованно произнесла Жанна.

– Ну, что с тобой? – спросил Костя. – Идем, идем, а то на обед опоздаем.

И пошел по средней дороге. Линда за ним. Да так и пришла в лагерь. Оказалось: правая дорога вела вниз на вырубку и не далее, левая – вела к кордону. По ней можно было идти, но это дальше и некомфортно, а средняя – та самая, по которой ребята прошли сначала, идя на рыбалку, и Линда запомнила ее. Так что придется и её угощать жареной форелью.

XI

Как мастер на все руки, Костя, воспользовавшись свободной в этот вечер печью, стоявшей под навесом на северной окраине лагеря, приготовил отменное блюдо – «форель золотистая». Румяные бока, особый аромат, неповторимый вкус. За столом, сколоченным из широких пахучих досок, сидели друзья Костика и Жанны. Естественно, здесь же была и Линда, которая позволяла всем желающим погладить себя. Она ведь знала: здесь были только хорошие люди. И первым, кто полу-



чил свою порцию, была Линда.

– Главная участница рыбалки, наш талантливый проводник, – прокомментировал свой жест Костя.

Сидящие за столом отпускали «рыбакам и кулинару» пышные комплименты, выпили за их здоровье по «бокалу» вина из одноразовых бумажных стаканчиков и начали петь под аккомпанемент Кости:

*А я еду, а я еду за туманом,
За туманом и за запахом тайги.*

– Ой, братцы, скоро нам придётся отчаливать по домам. Давайте «Разлуки» Визбора споем! – предложил лучший друг Кости красавец Андрей.

– Наливайте: между первой и второй, как говорится ..., – продолжила институтская подруга Жанны, романтическая Ольга.

– Угощайтесь, друзья: такую форель не каждый день подают, – добавил Костик и взял свою неизменную спутницу – гитару. Привычным движением его пальцы коснулись струн и полился голос другого друга Кости – Николая Варданяна:

*Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены.
Тих и печален ручей у янтарной сосны.
Пеплом несмелым подернулись угли костра,
Вот и окончилось всё – расставаться пора.
Крылья сложили палатки – их кончен полет,
Крылья расправил искатель разлук – самолет.
И потихонечку пятится трап от крыла –
Вот уж действительно пропасть меж нами легла.*

И как в прошлый раз, у одиннадцатого домика, сюда стали стекаться другие туристы. Им, к сожалению, оставалось форели совсем немного. Но они не за тем пришли. Они пришли за песней! И все вместе запели последний куплет:

*Не утешайте меня, мне слова не нужны.
Мне б отыскать тот ручей у янтарной сосны –
Вдруг сквозь туман там краснее кусочек огня.
Вдруг у огня ожидают, представьте, меня.*

Кто-то произнес: «Какие чудные слова!». А в этот момент по местному радио прозвучала тревожная информация:

«Дорогие отдыхающие лагеря «Дамхурц»! К вам обращается администрация: у нас случилась беда – к контрольному сроку не возвратилась из похода на пик Закан группа из двух человек. Прошло четыре часа. Есть вероятность несчастного случая. В лагере нет спасательной службы, но мы не можем оставить людей без помощи. Предлагаем: создать группу добровольцев, хорошо знающих горы, и отправить их по известному маршруту. Нужно всего пять человек. Всем, желающим войти в эту группу, необходимо собраться в радиорубке. Повторяем». Костя засунул свой медиатор под струны гитары и обратился ко всем:

– Я иду. Кто со мной?

Нашлось ещё трое добровольцев.

Костик, а как же я? Мне за тебя страшно, – встревожилась Жанна.

– Не переживай: я маршрут знаю, всё будет хорошо. Побудешь с Линдочкой.

А та стояла рядом, и, как всегда, виляла своим



куцым хвостиком.

– Она же не отпустит тебя.

– Хорошо, я возьму её с собой.

От этих слов Линда радостно взвизгнула. Вот и скажи, что собаки не понимают человеческий язык.

– Ладно. Всё. Ребята! Всем обуть ботинки, взять штормовки, фонарик. Репшнур я возьму на складе. Через десять минут встречаемся у радиорубки.

А там нашлось ещё два добровольца. Итого – шесть человек.

– Пусть будет шесть, – согласился начальник лагеря.

И вот команда под руководством Кости Теплова с его Линдой сидела в салоне «Газели», которая должна их подвезти к мосту через Лабу, а дальше – своим ходом. Уже работал мотор, и тут появилась Марина. Она закричала: «Костя, возьми меня. Есть же свободное место. А я вам пригожусь!»

Костя, сидевший рядом с шофером, через открытое окно четко ответил ей:

– Только мужчины. Всё. Поехали.

Уже через закрытое окно он увидел Жанну, помахал ей рукой и послал воздушный поцелуй. Марина увидела этот жест, поняла, что он относился не к ней, громко выматерилась, потом подошла к Жанне и откровенно, с язвительной улыбкой так же громко объявила:

– Запомни: он – мой. Ему такая, как ты, размазня, не нужна.

Жанна на мгновение проглотила язык, но всё же нашла силы на ответ:

– А не подавишься?

Она плюнула в сторону соперницы и побрела в свой одиннадцатый домик ожидать возвращения Костика.

ХII

Расстроенная дурацкой сценой с Мариной, Жанна прошла мимо своего домика и не заметила, как оказалась на берегу Дамхурца, а он по-прежнему звонкой песенкой катился вниз, омывая могучие камни и свалившиеся в поток, с ещё зелёными листьями макушек две берёзки, которые на мгновение выныривали на свободу, и тут же волна накрывала их снова. Жанна посмотрела вверх, откуда катился Дамхурц, и будто впервые увидела всю его первозданную красоту – смешанный лес по обоим берегам, громадные валуны, вырастающие из хрустальной воды, ошкуренные до блеска этим мощным потоком вековые бревна. И в самой дали, слева над всем этим праздником природы возвышалась знаменитая гора Дождевик. Знаменитая она лишь тем, что с её помощью отдыхающие определяют погоду на день. Если макушку закрыли облака, ждите дождя. Сейчас небо было чистым и можно было надеяться, что Костя с Линдой и друзьями не попадет под дождь.

Несмотря на оскорбительный выпад Марины, здесь, у воды, Жанна успокоилась, сняла босоножки и спустилась с бережка, зашла в воду. У большого камня была глубокая заводь, и если попытаться подойти к ней, поток может сбить с ног. Жанна остановилась. С берега донесся голос Ольги:

– Подруга, подымайся наверх. Простудишься.

Жанна оглянулась и, увидев Ольгу, недовольно хмыкнула:



– Хотелось одной побыть.

– А я решила, что ты надумала топиться. Подымайся, подымайся.

Жанна вышла из воды, надела босоножки на мокрые ноги и пошла к подруге.

– Идем ко мне, – пригласила она Ольгу.

Через пару минут они уже были в одиннадцатом домике.

– Я всё видела и слышала, – сказала подруга.

– Есть же такие стервы. «Он – мой» и – всё. С какой стати? Знаешь, я ещё после первой встречи с ней Косте сказала, что от неё надо держаться подальше.

– Мне кажется, что тебе нечего опасаться: видно же, как он тебя любит.

– Я тоже так думаю, а на сердце тревожно. Вот вернется Костик, я предложу ему уехать отсюда. Вдвоем. По семейным обстоятельствам, хотя, если честно, очень жаль расставаться с этой красотой. Но ничего – есть и другие красивые места. Архыз, например.

– Что за паника, подруга? Ты – законная жена, вот и держись своего статуса, не позволяй всяким там фифочкам ломать твою семью. Хочешь, я поговорю с ней?

– Ни в коем случае. Ещё чего не хватало – унижаться. Перед кем? Нет, уж лучше пусть решение принимает сам Костик. Как он решит, так и будет. Но уехать я намерена завтра же.

– Ой, напрасно, Жан: там такие события намечаются – поездка на Кислые источники, поход к Имеретинским озерам. Ты что, это никак нельзя пропустить.

– Я всё понимаю. Понимаю, что значат эти

события для Костика, но если передо мной угроза развала семьи, я должна уехать, как нынче говорят, из зоны конфликта. Мне довольно первого брака.

Они не пошли на ужин и проговорили ещё часа три, пока не появился Костя с Линдой. И за весь период пребывания в лагере она впервые радостно кинулась к Жанне, стала лизать её руки, лицо. Костя был зол. Ольга поняла, что надо уходить, только спросила:

- Ну, как - нашли пропавших?

- Нашли, - механически ответил Костя, и Ольга поспешила уйти.

Снимая ботинки, он сердито продолжал отвечать на вопрос Ольги:

- Нашли. В блаженной позе лежавших у костра в лесу. «А мы подумали и решили ещё сутки посозерцать. Здесь такая красота. Какой вид - всё ущелье просматривается». Представляешь, это говорит разрядник по альпинизму, знающий, что такое дисциплина в горах, что такое «контрольный срок». Взял с собой подругу и - «гуляй, Вася», а что весь лагерь на уши поднят, его не волнует.

Правильно сделал начальник лагеря, отчислив эту парочку из состава отдыхающих с завтрашнего утра. И - без права появляться здесь целых пять лет. Ладно, хватит об этом Как ты тут без меня? Никто не обижал?

- Обижали... Одна особа – твоя Маринка.

- Фу, господи, какая она моя?

- Так и заявила: «Костик – мой!»

- Она что – с дуба рухнула?

- Не знаю, но так публично сказано.

- Ты не шутишь?



– Спроси у Ольги: она своими ушами слышала.

– Ну и дела. Завтра будем разбираться.

– Ничего не надо: я решила – давай уедем отсюда. Срочно. Завтра, в крайнем случае – послезавтра.

– Из-за неё портить себе отдых, поломать все планы? Нетушки. Не позволю.

– А для меня – оставаться здесь всё равно, что погибель.

– Жаннета, зайчик, ты чего? Я же рядом. Слышишь – рядом! И никому не дано нас разлучить. Мы вместе пойдем на Имеретинские озера. Такой красоты ты больше нигде не увидишь. Жан, ну перестань. Я тебя люблю.

И он вытер её слезы своими губами.

– Вкусные какие!

Линда подпрыгнула и по-свойски лизнула щёку Жанны. Немного придя в себя, она улыбнулась и с тяжелым придыханием сказала:- И всё-таки нам надо уехать. Оставить тебя здесь одного я не имею права, пока я ещё твоя жена.

XIII

Лишь перед самым рассветом они закончили свой тяжелый разговор. Жанна не могла успокоиться от наглости Марины, столь настойчиво претендующей на получение Кости в свои руки. Её фраза «Я с ним спала в одной палатке» раскалывала душу Жанны даже после того, как Костя подробно рассказал всё. Было это давно, сразу после окончания школы. Его класс решил сходить на Бештау с ночевкой. Была эйфория. С высоты полутора километров все захлебывались от восторга. Потрясающие картины, куда ни посмотри. В



дальней дали виднелись бесконечные цепи Кавказского хребта с двуглавым красавцем Эльбрусом. Он выглядел, словно белокрылая чайка, только что распластавшая свои крылья, чтобы взлететь над миром. Поближе – лесистое Предгорье, ровные квадраты зреющих злаков и горы-лакколиты: Джуга и Жуца. Налюбовавшись этой красотой, они спустились на поляну, разбили четыре палатки, устроили у костра «королевский» ужин. Пели песни, травили анекдоты, а поздно ночью расползлись по палаткам. По четыре-пять человек. Косте выпало лежать рядом с Мариной. Он не придал этому особого значения, зато Марина, забыв, что в палатке было еще трое одноклассников, стала недвусмысленно требовать от него мужского внимания. Несмотря на то, что Марина была самой привлекательной и взрослой из всех девчат, Костя относился к ней ровно, как и ко всем остальным девчатам. Она же хотела, она требовала к себе особого внимания. До определённого момента он терпел её домогательства, даже ответил на один поцелуй, потом встал и выбрался из палатки. Марина хотела было последовать за ним, но он буквально затолкнул её в палатку и ушёл в перелесок. Всё это слышали её одноклассники и успокоили её: «Ты же видишь, что Костя слишком правильный, порядочный. Вот и не приставай к нему».

Костя так и не вернулся в палатку, а когда стало светать, собрал ещё дровишек, разжег костер, чтобы подогреть завтрак. Постепенно из палаток стали вылезать другие ребята и продолжили петь «вчерашние» песни. На этом инцидент с Мариной был исчерпан, и все благополучно вернулись в



город, оставив в душе самые приятные впечатления. И всё! Вскоре весь класс разлетелся по белу свету, и Марина – тоже. Она поступила в медицинститут. Года три назад они встретились случайно, но она отнеслась к этой встрече тепло, с некоторой надеждой, даже призналась ему: «Что-то ёкнуло... А как ты?».

– Я рад тебя видеть, – ответил Костя. Никаких дальнейших встреч больше не намечалось.

...Такой рассказ несколько успокоил Жанну, она нежно поцеловала Костю и тотчас, как вырубленная, заснула. А Кот погладил Линду по холке и просто лёг рядом с женой, не заметив, как сон свалил и его. Но ровно в полседьмого он надел шорты, шерстяную кофту и вышел вместе с Линдой на свою обычную пробежку по дороге вдоль Лабы. Два с половиной километра в один конец. Линда, не отставая, бежала вслед за ним. Когда вернулись в лагерь, сразу пошли к озерку. Там, у могучей красавицы-пихты Костя разделся до плавок, подождал несколько минут, чтобы остыть от бега, потом подошел на самый край мостка и нырнул в обжигающую воду. Вслед за ним прыгнула Линда. Она подплыла к Костику, он подхватил ее под брюшко. Она радостно болтала лапами. И вдруг, как из-под земли на берегу, у пихты, появилась Марина. В одно мгновение Костя отметил про себя: слишком хороша паршивка – точеные ножки, классический бюст, прекрасный горный загар, значительно отличающийся от морского. Она была слишком откровенно одета: две полоски бюстгальтера, куда никак не хотели умещаться её крепкие груди, и такая же узкая полоска вместо

плавок. Оказывается, она тоже была на пробежке, только в противоположную сторону.

– Можно, я к вам?

– Мы уже выходим – слишком холодная вода.

В следующую секунду Марина прямо с мостка нырнула в воду и поплыла к Косте. Линда начала грозно рычать, но в два взмаха руками Марина оказалась перед Костей. Линда продолжала лаять.

– Что ты, дурочка, я не трону твоего Костю, – дружелюбно сказала Марина и хотела прикоснуться к Косте. Но Линда вырвалась из рук хозяйина и укусила Марину за руку.

– Нельзя, нельзя! – скомандовал Костя. Линда отпустила её руку, и троём они поплыли к берегу. А тут появились Жанна с подругой Ольгой.

– Ты посмотри, что она сделала! – сказал Костя. – Разве можно так?

Линда виновато подошла к Жанне, и та удовлетворённо погладила её.

– Молодец.

– Я сейчас пойду к начальнику, и он живо выдворит вас... Развели здесь собачник. Лагерь – для людей, – недовольно буркнула Марина.

– Но не таких, как ты, – ответила Жанна. – Оставайся, Костик, окажи помощь пострадавшей, а мы пошли собираться... Идём, Линдочка.

Тогда Ольга подошла к Костику, по-дружески отодвинула его от Марины и приказным тоном сказала:

– Иди к Жанне. Она собирается уезжать домой. Сделай что-нибудь, прошу тебя. А я схожу с Мариной в наш медпункт.



XIV

Косте очень не хотелось уезжать – ведь у него уже была списочная группа идущих в трёхдневный поход на Имеритинские озера, но Жанна поставила вопрос так: или сегодня же уезжаем домой, или она уезжает одна и уходит от него навсегда. Ни логичные доводы о том, чтобы оставаться здесь до конца смены, ни ласки, ни просьбы на коленях не могли смягчить её сердце. Нет – и всё. Костя не верил, что Жанна может уйти от него и уже хотел было остаться, но тут появилась ещё одна проблема: у Линды начали опухать молочные железы. Видимо в царапину, полученную на рыбалке, попала какая-то инфекция. Сказалась и большая физическая нагрузка во время поиска «пропавших» туристов и, наконец, сегодняшний кросс с Костей. В общем, надо везти в ветлечебницу. Оставлять её здесь до конца смены слишком рискованно – может погибнуть. Значит, надо соглашаться с требованием жены.

Дома они объяснили причину досрочного возвращения только болезнью Линды. А она бешено прогрессировала. За неделю опухоль на животе превратилась в большой комок, который мешал ей в ходьбе. Каждый день её поочередно выносили на прогулку. Идти по ступеням сама она уже не могла: было очень больно. Костя пытался заставить её самостоятельно подниматься по ступеням в квартиру. Она преодолет две-три ступени, оглянется, и её глаза-вишенки умоляюще просят – подними меня, ведь впереди ещё сорок ступенек. И он брал её на руки, нес наверх. С каждым днем ей становилось все труднее передвигать-



ся. Собачьего доктора на месте не оказалось: лишь через неделю он должен был выйти из отпуска, а младший фельдшер, не имевший права самостоятельно оперировать животных, лишь выдал Косте ихтиоловой мази для натирания сосцов, которые стали теперь мелкими пупырышками на поверхности массивной опухоли.

Ждать целую неделю было рискованно. Родители Кости предложили свозить Линду в ветлечебницу Минеральных Вод. Там сразу, в тот же самый день, под общим наркозом провели успешную операцию. Совершенно бесчувственную, её завернули в пеленку и привезли домой. В руках Кости она пришла в себя и необычно вяло лизнула его в щеку, будто благодаря за внимание. Костя устроил ей госпитальный уголок, а Василиса Ивановна сшила ей особую жилетку, с тем, чтобы Линда не могла лизать свой шов на животе. Так усилиями всей семьи через неделю она уже могла скакать и радоваться жизни. Только вот другая рана, рана в отношениях между Жанной и Костей, зарастала значительно медленнее, пока однажды не развела их вовсе.

Оба они ещё были в отпуске перед тем, как выйти на работу, которая была им предоставлена после окончания университета: его пригласили в банк менеджером по рекламе, а её – в филиал одного из московских вузов преподавателем английского языка. Оба надеялись, что всё у них будет хорошо, никто не будет лезть в их семью.

Увы, это была лишь надежда, которая в один день рассыпалась, как карточный домик. На горизонте вновь появилась Марина. Она выследила Костю, когда он был на прогулке с Линдой.



Близко подходить к ним она не осмелилась, помня агрессию этой собаки. Костя подал команду «сидеть». И они на расстоянии пяти метров друг от друга обменивались малозначимыми репликами.

– Как дела?

– Нормально.

– Рука зажила?

– Да.

– Чем занимаешься?

– Готовлюсь в клинику. Пока стажером.

– Дай-то бог.

– Ты не хотел бы где-нибудь посидеть, поговорить со мной? Как цивилизованные люди.

– Марин, ты хороший товарищ. Но я, откровенно говоря, не хочу обижать Жанну нашей встречей с тобой. Она до сих пор думает, что у нас что-то было.

– А разве нет? Кто целовал меня в палатке?

– Забудь этот эпизод.

Далее всё, как в кино. Неподалеку стояла Жанна и слушала их диалог.

– Жан, подходи. Тут никаких секретов нет – товарищеский разговор, – виновато позвал Костя.

Но Жанна молча повернулась и ушла. Костя не побежал за ней. Он не знал, что делать.

– Марин, ну зачем ты пришла? Я не хочу тебя видеть. Прощай!

– Иди, догоняй свою цыпочку. Она тебе ещё выкинет номер похлеще моего.

Он догнал Жанну и попросил:

– Зайчик, давай сегодня в театр ходим. На «Баядеру».

– Ты что – с дуба рухнул? Между нами всё кончено. Иди куда хочешь, с кем хочешь, а я иду к

маме. Она уже точно не обманет меня. Впрочем, я к маме только на минутку. А дальше – я уезжаю в Москву, к бывшему мужу. Зовет к себе. Вот эс-эм-эс-ка.

С ним всё будет честнее. Иди, иди, догоняй свою Мариночку.

Костя оторопел от её слов. Через минуту, собравшись с духом, произнес:

– Жан, а ты не находишь, что это предательство? Я не заслужил этого. Я никогда тебя ни в чем не упрекал. Я нашёл тебе лучшего гинеколога, чтобы подлечить тебя, я до сих пор надеюсь, что у нас будут дети, а ты вот так... будто капризная принцесса, всё ломаешь, не слышишь, что я тебе говорю.

– Уж если говорить о предательстве, то оно относится лишь ко мне самой. Я в данном случае предаю себя – не люблю Вадима, но еду. По крайней мере, я там не увижу такого унижения, какое мне устраивает твоя садистка...

Костя подошел к Жанне так близко, что до поцелуя оставалось несколько сантиметров. Между ними встала Линда и энергично завияляла хвостиком, подвывая свое привычное «и-у». Но поцелуя не случилось: они поглядели друг на друга и пошли в разные стороны.

XV

Уходя от Кости, Жанна взяла с собой лишь сумочку с парфюмом, паспорт и некоторые рабочие тетрадки с записями лекций. Пригодятся – мало ли что. Начинать процедуру развода было некогда: хотелось поскорее забыть всё, хотя её подруга настаивала – за любовь надо бороться. А зачем



нужна эта борьба, если, даже победив, свою любовь надо будет делить с кем-то ... Нет, это не её выбор. Она, как у пушкинской Татьяны, – либо всё, либо ничего. Без всякой примирительной середины.

Непонятая Костей, осуждаемая собственными родителями и свекровью с очень скудными пожитками, она появилась в квартире Вадима, которую купили ему отец и мать, взяв большой кредит. Вадим жил один. Следы холостяцкой жизни были видны во всём, например, – в наваленной в мойке груде грязной посуды. Она пришла по указанному адресу сама. И встреча их не была особенно радостной. Скорее – суховатой.

– Вот так и живу, – виновато отмечал Вадим реальность увиденного Жанной. – Надеюсь, ты наведешь порядок.

– Ты за этим меня позвал к себе?

– Нет, нет. Что ты, зайчик.

– Никогда больше не называй меня так. Это меня унижает.

На самом деле ей не хотелось вспоминать о Косте, который вкладывал в это имя такие нежные чувства, на которые, как ей казалось, Вадим был не способен.

Она узнала, что Вадим временно работал простым охранником в каком-то НИИ, зарплаты ему хватало даже на концерты звёзд.

– Ты не переживай. Мы всё восстановим, забудем всё плохое, что было у нас. Я думаю, всё будет хорошо. Лучше тебя я не признаю никого.

– А у тебя много женщин было без меня?

– Что ты... женщин... после тебя ни к кому душа не лежала.

– Послушать, так живой ангел. С крылышками.



Она заглянула в холодильник. Пусто – хоть шаром покати.

– Да как же ты живешь, Вадька? У тебя что – денег нет? Как же ты собрался бывшую жену встречать?

– Вот такой я пентюх.

– Деньги есть?

– Сколько хочешь.

– Тогда идем на рынок, купим всё, что надо, и я тебя накормлю.

– А может, в ресторан сходим? В честь твоего возвращения...

– На рынок! Ресторан будет потом, – скомандовала Жанна.

Как молодая хозяйюшка, наученная любимой свекровью, она накупила мяса, овощей, зелени и часа через два они сидели за роскошным столом, слегка «обмывали» воссоединение семьи и даже слушали музыку, что звучала давным-давно, когда они поженились.

Ночь прошла так, будто они никогда не обрывали свои отношения, как было в самом начале их брака, когда они оба красивые и здоровые растворились друг в друге. Теперь Жанна даже подумала: «А Вадик повзрослел. Может, и, правда, любит меня? По-настоящему?» И как бы в подтверждение её мыслей он спросил:

– Ты мне веришь?

– В чём?

– Вообще, веришь? Знаешь, почему я позвал тебя к себе?

– Почему же?

– Просто без тебя у меня нет никакой жизни. Поначалу, когда мы разошлись, я думал – найду



другую и будет не хуже. Но – дудки! Всё не то, всё – не то. И чем больше проходило времени без тебя, тем больше я думал о тебе. Мо-ло-дец, что приехала, откликнулась на мой зов. Теперь заживём, как люди.

Зазвонил мобильник Жанны.

– Слушаю. Ой, мамуля, привет. Да ничего. Я у Вадика. Вроде всё нормально. Нет, хорошо. Что?! Когда? В реанимации? Вот ужас. Передай, если сможешь, мои лучшие... Да, если сможешь. Очень жаль. Папуле привет.

– Кого там шандарахнуло? – равнодушно спросил Вадим.

– Инфаркт. У Кости. Мы с ним даже не развелись. Только я уехала к тебе и – инфаркт.

– Это с каждым может. Стресс и – готово.

– И мама говорит, как только я уехала, с ним и случилось это. Обычно инфаркт у людей в годах, а тут – такой молодой... всего двадцать три.

Вадим обнял Жанну и начал её успокаивать:

– Организм молодой, выдержит. Сколько примеров. Вот инсульт опаснее. А инфаркт лечится. У некоторых случается по два-три раза.

Жанна побледнела. Перед глазами поплыли кудрявые волны. «Скорую... скорую» вызывай, – успела сказать она и потеряла сознание.

«Скорая» приехала быстро. Вадим поехал вместе с Жанной в поликлинику и там в приемной, волнуясь, ожидал, когда появится Жанна. Но вышла медсестра.

– Вы кто для Тепловой?

– Муж.

– Радуйтесь: ваша жена беременна.

В восторге Вадим схватил медсестру и стал

кружиться с нею, повторяя: «Беременна, беременна».

– А почему она не выходит? – вдруг встревожился Вадим.

– Мы оставляем её на сохранение ребенка. Есть некоторые отклонения, но ничего страшного. Сейчас ей нужен покой. Подлечим и дождемся своего ребеночка. Кажется, мальчик. Уже шесть недель.

«Значит, это не мой ребенок, – размышлял он. – А я обрадовался, как дурак».

XVI

Костя одиноко сидел в кресле. Рядом на полу лежала Линда. Он то хватался рукой за сердце, то этой же рукой поглаживал её холку.

– Что-то придавило меня и не отпускает, – жаловался он Линде. – Но ничего, выкарабкаемся. Правда же, Линдочка?

А та встала на задние лапы и, повизгивая, лизала ему руки, лицо, да так старательно, как ещё не бывало раньше.

– Что ты, моя золотая. Сейчас сердечко отпустит, и пойдем с тобой гулять. Да?

– С кем это ты беседуешь? – спросил вышедший из своего кабинета отец. – С Линдочкой?

И он тоже погладил её по холке. Всмотревшись в лицо сына, он всплеснул руками:

– Сынок, тебе плохо? Что же ты молчишь? Из-за неё? Да плюнь ты на все это – как ушла, так и придёт. А не придёт – тем лучше: значит, не любила.

– А я-то любил и люблю.

– Нашел из-за чего переживать. Если женщина любит, никогда сама не уйдет. Что у вас случилось?



– В том-то и дело, что ничего. Просто приревновала к моей школьной подруге, которая тоже оказалась в горах, Ты её знаешь, ну эта – Марина.

– А-а... Сизова? Смазливая. Но не больше. И из-за неё сыр-бор? Да вы оба: и Жанна, и ты – дураки.

– Понимаешь, па. Я чего переживаю: ни в чем не виноват, а она вспыхнула, как спичка, и исчезла. Теперь ищи её свищи.

– Сын, я ещё раз повторяю: выкинь её из головы. Не ты первый, не ты последний. С кем не случаются подобные истории... Опомнись: ты видный мужик, руки золотые, голова на плечах. Сколько их, баб, ещё будет-перебудет. Обязательно встретишь лучшую. Не стоит так убиваться. Разбрасываться такими парнями – это уже за пределами.

– Пап, не уговаривай меня.

– Стоп! Костик, а ну-ка дай мне твою руку. Да у тебя же нет пульса. Бледный, как стена. Я вызываю «Скорую»

– Может, не надо, посижу ещё и пройдет.

– Нет, вызываю.

Врач осмотрел Костю и укоризненно обратился к Владимиру Константиновичу:

– Вы отец? Да что ж вы медлите? У него же инфаркт.

И тут же по мобильнику:

– Петровна, направляй реанемобиль с бригадой по адресу.

Бригада врачей работала с Костей ещё с полчаса, а потом главный объявил:

– Забираем вашего сына в клинику.

– Не хочу в клинику, – как маленький, ответил Костя. – А где мама?

- Поехала на рынок. Скоро будет.
- Каждая минута дорога. Понесли.

Двое парней в белых халатах уложили Костю на носилки и спустили его к реанемобиле. Линда пыталась ехать с ним, и даже умудрилась впрыгнуть в машину, но разгневанный доктор крикнул:

- Да уберите же вы эту собаку!

XVII

Узнав о беременности от врача, Жанна не могла, да и не хотела выйти к Вадиму. Он был ей не нужен. Она радовалась своему положению, хотя врач говорила ей о том, что надо побережться, не нервничать, избегать стрессовых ситуаций. Какое счастье! Казалось, не было никакой надежды и – вдруг. Это все Костик. И гениального гинеколога нашёл, и очень хотел ребеночка. Даже в церковь ходил. Бог услышал его молитву.

– А я, – размышляла она вслух, – псих ненормальный: собственными руками всё погубила. Нет, не всё. Я стану на колени и попрошу прощения. Костик добрый, умный. Он обязательно простит...

Дама, которая лежала с Жанной в одной палате, с любопытством спросила:

– И за что же такое страшное вас должны простить?

– За что? Что обидела, оскорбила. Любимого мужа! Какое-то затмение нашло на меня. Сейчас позвоню свекрови. Она женщина порядочная, поймет меня. Костику ещё звонить нельзя – реанемация есть реанемация, а Василисе Ивановне позвоню.

- Не бойтесь, что она пошлет вас куда подаль-



ше?

– Нет, она не такая.

– Я бы послала, извини за откровенность. Это ж из-за вас у него такой приступ.

– Вы, пожалуй, правы. А что же мне делать? Я обязана сообщить им такую радостную новость. Звоню. Василиса Ивановна. Это я, Жанна. Добрый день. Как недобрый? Что?! Когда? Не может быть! И далее, как в замедленной съемке, Жанна стала падать. Дама успела подхватить её, уложить в постель, вызвать дежурного врача.

– Ей же нельзя волноваться, – сказала врач. – Что тут случилось? – оказывая помощь, спросила она. Дама коротко изложила ситуацию.

– Какое безумие! – выдохнула доктор. – Одно к одному.

Оказывается, Вадим вовсе не уходил домой: он ждал окончательного результата. Может, и нет там никакой беременности. И он попытался войти в палату. Но его не пустили туда

– Вы кто такой?

– Я муж. Я имею право на два слова с женой.

– Ничего не понимаю. Какой муж? – ответила доктор. – Не мешайте работать.

Через полчаса Жанна очнулась. В палате была та самая дама.

– Слава богу, что пришла в себя. А то я уже подумала – не выкарабкаетесь, – обрадовалась дама.

Жанна с тревогой посмотрела по сторонам.

– Где я?

В следующую секунду она истерично закричала:

– Он умер! Костик умер!

Прибежала медсестра. Затем – дежурный доктор.

– Он умер! Отпустите меня. Я должна ехать к нему, – повторяла Жанна. – Отпустите!

– Жанна Родионовна, пожалуйста, успокойтесь, возьмите себя в руки, – говорила дежурный врач. – Вам нужен покой, иначе будет выкидыш.

– Он умер! Мой Котик! Да как же так?

– Жанна Родионовна, мы сейчас сделаем вам укольчик. Успокоительный. И всё будет хорошо. Помогите ей, – обратилась она к медсестре. – Вот так. Левую руку. – Вы же хотите сохранить ребенка, значит, не надо нервничать. Покой и только покой. Зочка, посидите с ней. Если что – я в ординаторской.

После укола Жанна несколько успокоилась, а через пять минут и вовсе заснула. Медсестра тоже ушла к себе. И только дама оставалась в палате: она ожидала родственников.

Жанна проспала не больше двадцати минут. И сразу встала с постели, спокойно позвонила Вадиму:

– Сегодня не приходи. Лучше – завтра. Подробности – потом.

Откашлявшись, она, стесняясь, обратилась к даме:

– Я его обманула... чтоб не помешал мне: я сегодня же улечу к Костику. Хочу застать его до выноса. Мы с вами почти не знакомы, но мне не к кому обратиться. Вы не могли бы мне занять на билет. Не хватает семьсот рублей. Я вышлю вам сразу, как прилечу. Дома деньги есть. Дайте мне свой адрес, а мой - вот визитка.

– Конечно, дам. Только вам не выдадут вашу



одежду.

– А я полечу в больничном халате. Спасибочки вам, Анна Петровна. Я обязательно верну, не переживайте.

– Да я и не переживаю. Примите мои соболезнования. И правда: меньше нервничайте. Берегите ребёночка.

– Никогда не забуду вас, – заверила Жанна эту добрую женщину. Не зря говорят: мир не без добрых людей.

XIX

На площадке третьего этажа, перед квартирой Кости, стояли деревянный крест с памятной табличкой, крышка гроба, несколько венков от родителей, друзей. Дверь в квартиру была открыта. В неё входили с цветами люди, другие с печальными и заплаканными лицами выходили.

Растерянная Жанна, увидев все это, в первые секунды окаменела. До сих пор она ещё надеялась, что это неправда, что быть такого не может. Костик сильный, здоровый, молодой мужчина. Осторожно, будто опасаясь кого-то спугнуть, она подошла к гробу, у которого сидели в трауре отец и мать его, сначала обняла Василису Ивановну, потом отца и спросила: «Как же это?» В следующее мгновение она стала у изголовья, наклонилась к лицу Кости, провела рукой по лицу и стала истоиво целовать его. Из её груди вырвалось такое взрослое рыдание, что все присутствовавшие завсхлипывали. «Прости меня, родненький, прости».

– Теперь уж поздно, – полушепотом произнесла Василиса Ивановна.

Этих слов Жанна не слышала и повторяла:

«Прости, прости». Из всех присутствовавших никто, кроме отца и матери Кости, не знал, почему она так виновато просила об этом. Но все обратили внимание на то, что Жанна была в больничном халате. Как бы оправдываясь, Жанна начала разговаривать с покойным мужем:

– Я сбежала к тебе из больницы. Мне так хотелось сообщить тебе радостную новость... Да, радостную для нас с тобой...

Вечерело. Подходили друзья, бывшие одноклассники, однокурсники. Весть о кончине Кости облетела такие пространства. Пришли телеграммы соболезнования из Лондона, Парижа. Там было много его друзей. Появилась мать Жанны. Она положила в гроб белые лилии, обняла поочередно родителей Кости и прилюдно стала увещевать дочь:

– Что ж ты домой не забежала? Явилась в этом тюремном халате. Это в Москве такие выдают?

– Мама, пожалуйста, помолчи. Не тревожь Костика.

И мать замолчала, поправив свои лилии в гробу.

– Василиса Ивановна, мамочка, я прошу вас: дайте мне, ради бога, возможность полчаса, всего полчаса побыть с Костей наедине. Я хочу ему кое-что сказать. Только ему, а потом – вам.

Василиса Ивановна, вытерев концом платка заплаканные глаза, обратилась ко всем:

– Это её право. Жена все-таки. Пожалуйста, перейдите в другую комнату, – попросила Василиса Ивановна.

И все послушно вышли – кто на лоджию, кто в



другую комнату, а кто и совсем ушел. Жанна осталась одна. Каким-то чудом в комнату пробралась Линда. Она стала на задние лапы и хотела было достать языком сложенные на груди руки Кости. Жанна попыталась прогнать её, но ничего не получилось: та стала рычать, как на чужую.

– Мам, пожалуйста, уведите Линду! – попросила Жанна. Василиса Ивановна тотчас взяла Линду за ошейник и заперла её в ванной.

Жанна наклонилась к лицу Кости, расправила его пышный чуб и заговорила:

– Миленький мой Котик! Прости меня за всё. Прости, прости. Я прилетела к тебе, чтобы сообщить потрясающую новость: твои труды не пропали даром: у нас будет ребёнок. Как сказал доктор, кажется, мальчик. Твой сыночек. Знаю: нет мне прощения, но я всё же прошу – прости меня. Я всегда любила только тебя одного. И с этой любовью я остаюсь навсегда. Одна. Нет, с сыном. Твоим сыном!

Её исповедь прервал вой Линды, доносившийся из ванны. Она тоже хотела побыть с Костей рядом.

XX

Остаток ночи Линда провела на полу, под гробом, установленном на двух больших табуретках. Было слышно, как она периодически вздыхала, то ли от усталости, то ли от понимания трагичности её положения. Она ещё не знала, что через несколько часов его навсегда унесут из дома, но, казалось, понимала, что Костя уже не заговорит с нею, не погладит её по холке, не пойдет гулять в лес, на озеро, просто во двор, не возьмет её на руки. Может, и не так она думала, совсем не думала, но

точно – чувствовала так.

По настоянию матери Жанна ушла домой, чтобы надеть приличествующее случаю платье, траурный платок на плечи и вернуться к Косте. Василиса Ивановна отвечала на многочисленные звонки, встречала проходящих попрощаться, со слезами отвечала на вопросы, поминутно отходя от гроба.

Отец занимался организационными вопросами – милиция, поликлиника, кладбище, транспорт, священник. Время и место поминок и тому подобное. Благо, что у брата был свой транспорт.

Пришла Жанна с матерью. На ней было длинное тёмное платье, на плечах чёрный платок, на ногах – тёмные босоножки. В таком же духе и мать. Под глазами Жанны тёмные круги – видно, она проплакала всё это время. Ей тотчас уступили место у изголовья Кости. Она нежно поглаживала его лоб, щёки.

– Он живой, живой... только холодный, – в полголоса повторяла она.

– Жанночка, детка, не надо так – тебе же нельзя волноваться.

Ждали священника. Была заказана панихида. Якобы так хотел Костя.

Перед гробом, у головы покойника, поставили столик, на нём – булка хлеба, солонка, тарелочка кутьи, стакан свячёной воды, стопка вина, поминальные свечи, полотенце... И чуть в сторонке – тарелка для пожертвований. Там уже лежали десятки, сотни...

Наконец пришел батюшка с помощницей. Быстро достав из солидного портфеля всё для облачения, он привел себя в порядок, зажег кади-



ло и начал:

– Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечного преставившегося раба Твоего, брата нашего Константина и, яко Благ и Человеколюбец, отпущай грехи и потребляй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная.

В руках у каждого были поминальные свечи, зажжённые друг от друга, воск потрескивал и стекал на бумажные подставочки. Батюшка вёл панихиду, помощница подпевала ему, он на время отдавал ей кадило, читал по книге священные тексты, крестился, и все повторяли за ним крестное знамение; размахивая кадилом, он три раза обходил вокруг гроба и в заключение пропел:

– И сотвори ему вечную память. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Гроб, по обычаю, на несколько минут поставили у подъезда, чтобы жильцы многоквартирного дома смогли проститься с Костей. Слева и справа стояли разного формата стулья и на них сидели, в основном, пожилые люди, родители и Жанна со своей подругой Олей. Некоторые захотели выступить. Под гробом, озираясь по сторонам, лежала Линда.

Начала говорить соседка Лидия Николаевна, на чьих глазах Костя из грудничка превратился в статного красивого мужчину:

– Мое первое слово к родителям Кости: очень тяжело терять близких в преклонном возрасте, но невыносимо тяжело хоронить молодых, собственных детей. Поэтому в первую очередь вам, Василиса Ивановна и Владимир Константинович, мои самые глубокие соболезнования. Ваше горе, я

принимаю, как своё горе. Соболезную Жанне и всем остальным.

Два слова о Косте . Воспитанный, культурный, галантный юноша. Где бы ни встретила я с ним, его первый вопрос: «Вам помочь?» Он был приветлив, ласков со всеми. Трудно представить, что он уже не встретит нас своей сдержанно-очаровательной улыбкой. Пока мы живы, будем помнить тебя, Костик..

Не переставали всхлипывать Василиса Ивановна, Жанна и её подруга Ольга. Вытирая платком слезы, она тоже произнесла прощальные слова:

– Очень мало на земле таких людей, как Костя, и, к сожалению, они безвременно уходят от нас. Дорогая подруженька Жанна, родители нашего любимого Кости, близкие и друзья. Я скорблю вместе с вами.

Подъехал катафалк. Друзья Кости отправили катафалк на перекрёсток, чтобы гроб с телом друга пронести на руках до того места. Быстро взяли крест, крышку гроба, венки, потом – гроб, и начался для Кости последний путь. Вместе с людьми в процессии шла Линда. Когда гроб задвигали в катафалк, она умудрилась вскочить в салон. Туда же вошли самые близкие. Как ни пытались выгнать Линду из салона, ничего не получилось – она готова была искушать любого, кто к ней прикоснется.

– Пусть уж едет на кладбище, – распорядилась Василиса Ивановна. – Она так любила Костеньку... Животное чувствует, наверное, что это – конец.

Когда опускали гроб, Линда впервые завывала в полный голос. Все уехали на поминки, а Линду никто так и не смог завести в автобус. Кто-то



сказал:

– Кому она теперь нужна? И в самом деле – никому. Василису Ивановну и Жанну приводили в чувство нашатырным спиртом и водой. Им было не до Линды. Так и уехали оба автобуса, оставив Линду у могилы, заваленной венками и цветами.

XXI

На второй день после похорон обе семьи поехали на кладбище. Так принято. Когда все вышли из «Газели», то увидели поразившую их картину: венки, тюльпаны, гвоздики были сброшены с могильного холма. Сам холм несколько видоизменился – по центру его лапами Линды вырыта ямка, в которой она лежала. Её длинные уши были в земляных катушках, лапы в грязи. Первой возмутилась Жанна:

– Что ты наделала, тварь поганая? А ну-ка марш отсюда!

Линда, оскалив зубы, рычала, но не вылезала из ямки. Тогда Жанна взяла еловую ветку из поломанного венка и стала хлестать ею Линду. Та огрызалась, рычала, оставаясь в своей ямке.

– Родик, – скомандовала мать Жанны, обращаясь к мужу – возьми её за ошейник и выкинь отсюда. Могилку же надо привести в порядок.

Попытка Родика не увенчалась успехом. Тогда он пошёл к водителю автобуса, взял у него монтировку и замахнулся для удара. Линда завывала, будто её уже ударили. Тут подошла Василиса Ивановна.

– Родион Петрович, оставьте вы эту железяку. Линдочка, моя хорошая, иди ко мне. Я тебе котлетку дам. Дайте котлетку, – обратилась она к Жанне.

Тотчас подали котлетку. – Иди, иди, моя умница, помянем стобой дорогого Костеньку...

– Кошунство какое, Василиса Ивановна, - возмутилась мать Жанны – Собаку звать на поминки.

– Вот молодец. Иди, иди ко мне.

И Линда на животе поползла к Василисе Ивановне, виляя своим купированным хвостиком.



В родном краю

Когда наскучат мне дороги,
Пути оскомину набьют,
Меня, наверно, сами ноги
К родным пределам приведут.

Увижу снова лес и поле,
Село под Панькиной горой –
И словно радости и боли
Минувших лет опять со мной.

Вот с этой горки я катался
На санках в детстве, в холода.
Вот в этой речке я плескался
В июле в давние года.

Мне всё здесь дорого и мило,
И каждый бугорок знаком,
Со мной здесь роща говорила
Лесным зелёным языком.

И жизнь покажется мне проще,
Когда опять услышу я
Прямую речь всё той же рощи
И откровения ручья.

Вновь память нарисует мелом
Крыльцо родное, палисад,
Как мы вели ватагой смелой
Набеги на колхозный сад.



**АЛЕКСАНДР
КОМАРОВ**

Поэзия





То пропадали на рыбалке,
Где, как магнит, река звала,
А на закате длинной палкой
Домой нас бабушка гнала.

Гремела улица родная,
Манила всех на огонёк,
Играла "в чижика" и "в знамя",
И "в чехарду", и "в ручеёк".

Ручьём бурливым мчалось время,
Дел навалила чехарда.
Мальчишечье седеет племя,
Года уходят, как вода.

Но вновь на речку, лес и поле
Гляжу – никак не нагляжусь.
И духом родины и воли
Дышу – никак не надышусь.

Здесь жил, кружил, дружил, влюблялся
И зову вечному внимал,
С метелью русской целовался
И даль родную обнимал.

С годами истина яснее
И проще, словно белый свет:
На свете места нет роднее
И ближе сердцу просто нет.



О жизни

Я родился холодной зимой
В сердцевине горячего века.
Пела мама-метель надо мной,
Я ей вторил отчаянным эхом.

Подрастал не по дням – по часам.
Видел близко далёкие звёзды.
Мёд порою стекал по усам,
Ну а ртом лишь ловил чистый воздух.

Сердце птицей металось в груди –
Видно, очень наружу хотело.
И казалось, что всё впереди –
И любовь, и надёжное дело.

Усмиряя горячую плоть
И восторг разбавляя печалью,
Созревал головы моей плод,
И его ветви жизни качали.

Заблуждался, страдал и любил,
Слепо верил и разуверялся,
Сорок лет по пустыне бродил,
Только манны с небес не дождался.

В стороне, где родился и рос,
Мне досталось всего и немало:
Целовала удача взасос,
И беда, как вдова, обнимала.

Жизнь то ввысь устремлялась к звезде,
То воронкою тёмной крутилась.
Доводилось ходить по воде
И висеть на кресте приходилось.

Под завязку судьба воздала.
Годы мигом одним просвистели.
Оглушала хула и хвала.
И цветы, и каменья летели.

Вёрст немало протопал, прошёл –
И людей повидал, и просторов.
Поле жизни почти перешёл –
Даль иная открылась для взоров.

Сердцу тесно, как прежде, в груди,
И хлопчет оно без умолку:
Боже мой, что же там впереди?
Сколько вёрст, Боже мой, ещё сколько?

Вьюга белая

Вновь на улицах села
Вьюга белым зацвела
И кого-то молодого
За собою увела.

С неба сыплет белый снег,
Раздается детский смех.
И как будто незаметен
Звонких лет веселый бег.



Из трубы курчавый дым
Вьется к небесам седым.
А давно ли, ах, давно ли
Я и сам был молодым.

С белой вьюгою дружил,
Куролесил и кружил,
Понапрасну не растратил
Ничего, чем дорожил.

Вьюга вдаль меня звала,
Крепко за сердце брала.
От неё – от сатаны –
И набрался седины.

Где же вы, мои года?
Улетели навсегда?
Лишь поют все ту же песню
Вдоль дороги провода.

Да на улицах села
Вьюга белым зацвела
И кого-то молодого
За собою увела.

Песня

Метель, моя подруга,
Мети, метель, мети.
Уже во всей округе
Ты замела пути.

Поёшь над белым полем
Старинные слова,
И от любви и боли
Кружится голова.

Ту песню подари мне,
Чтоб так же славно петь,
И пару белых крыльев,
Чтоб в небо мог взлететь.

Вот так же я кружился
Порой в родном краю,
И белый снег ложился
На голову мою.

Под белым небосводом
Недолог этот век –
Метелью кружат годы
И тают, словно снег.

Когда покинут силы,
Согласен умереть,
Чтоб над моей Россией,
Как снег, лететь, лететь...

На распутье

Снова в русское дикое поле
Я собрался за счастьем идти.
Повстречался мне камень на воле,
Где расписаны наши пути.



Если вправо пойдёшь – потеряешь,
Если влево пойдёшь – не найдешь,
Если прямо пойдёшь – не узнаешь,
А вернёшься – уже не вернёшь.

Если вверх, то сквозь твердь не пробьёшься.
Исцарапаешь лоб до крови,
Если вниз – в небесах захлебнёшься
По ту сторону зла и любви.

Так неужто мы сбились с дороги?
То – не это, и это – не то.
Если дьявол прикинется Богом,
То непросто понять: кто есть кто.

Может быть, что устал я немного.
Ты прости меня, матушка Русь.
Я присяду с крестом у дороги,
Огляжусь да чуть-чуть отдышусь.

От политики дальше и славы,
Где заместо словес - небеса,
Где заплаканы русские травы
И чисты, и прохладны леса.
Здравствуй, воля! Покой и безбрежность!
И других нет на свете Россий,
Где берез сокровенная нежность
И небес откровенная синь.

С нами правда

Мир, как будто по жердочке узкой,
Через пропасть собрался идти.
Если в нём не останется русских,
Его некому будет спасти.

Нет, ни манны небесной на блюде,
Ни подарков судьбы мы не ждём.
Потому что мы – русские люди,
Мы пройдем своим русским путём.

Надоевшую бросим колоду.
И построим Россию, любя,
Безо всяких "избранных" народов,
Что так нагло "избрали" себя.

Это мы эту землю вращаем
Грозной поступью наших шагов.
Как Христос, всех на свете прощаем –
Даже самых заклятых врагов.

Мир устроен по-нашему будет.
Разрешим мы свой русский вопрос.
Потому что мы – русские люди,
С нами Правда и с нами Христос!

Ночные полёты

Звёзды в чёрном небе светят,
И скрипит земная ось.
Хорошо, что нам на свете
Повстречаться довелось.



Пусть зовут нас чудаками,
Но мы знаем, что творим:
Лишь слегка взмахнём руками -
И уже с тобой летим!

Дискотека нас качает,
И заводит рэпа трёп.
Мы немного летаем, -
Этак часиков до трёх.

После в грусти и печали
По своим домам бежим.
Чтобы крылья не торчали,
Там на спинках полежим.

Нас родители ругают,
Что летаем допоздна,
Будто и не замечают,
Что опять пришла весна.

Словно сроду не видали,
Как срывается звезда,
Не летали, не витали,
Не любили никогда...

Звёзды в чёрном небе светят,
И скрипит земная ось.
Хорошо, что нам на свете
Повстречаться довелось.



Они идут

По-русски глубока и широка,
По-русски, видит Бог, неукротима,
Течёт река Бессмертного Полка,
Где павшие в одном строю с живыми.

Они пришли, они идут, идут,
Идут в колоннах строгих рядом с нами.
Их тяжкий с кровью, потом ратный труд
Лёг на алтарь бессмертной русской славы.

Летят года, торопятся, бегут...
Но забывать мы не имеем права
Тех, кто не сдал залятому врагу
Русь – от Москвы до самых до окраин.

Идёт Василь, который в Бресте лёг,
Идёт Иван с медалью «За отвагу»,
Идёт Илья, прошедший поперёк
Европу, расписавшись на Рейхстаге.

Они идут, чеканя каждый шаг,
Все с нами рядом в светлый День Победы.
Они подскажут, где сегодня враг,
Как победить нам нынешние беды.

По-русски глубока и широка,
По-русски, видит Бог, неукротима,
Течёт река Бессмертного Полка,
Где павшие в одном строю с живыми.



Заглянуть в завтра

– Щекотливая тема... Я бы на твоём месте выбрал что-нибудь другое.

Гульковский в своём амплуа: дует на воду, обжёгшись на молоке. Но его можно понять: старичок уже так и остался навсегда в прошлом. Всё так же боится не угодить власти, не угадать тенденций... Хотя в чём-то он прав: не дай Бог дожить до дня, когда твой труд, не подтверждённый реальностью, утратит провидческую научность. А у старика опыт, на его глазах столько было развенчано кандидатов и докторов, и даже академиков научного коммунизма, диалектического материализма, истории партии... Нет, пожалуй, насчёт истории – перебор. История – факт непреложный.

– Я, Станислав, тебе, как старший товарищ и как учёный, рекомендую не браться за то, что имеет связь с будущим. Судьба пророков, как ложных, так и истинных, всегда драматична.

– Скорее всё же истинных, чем ложных. Истина нага, её видно сразу, а ложь умеет



**ВИКТОР
КУСТОВ**

Проза



рядиться и мимикрировать.

Сказал так умно, что самому понравилось. Но старика не прошибёшь. Он в своих мыслях – как в предохранительной капсуле с односторонней связью: его слышно, а ему нет.

– Видишь ли, если бы мы в юности понимали, что в конце жизни нам не хватит каких-нибудь мгновений для прозрения, для постижения смысла бытия, мы не тратили бы его на пустое время-препровождение и на суету.

Он не совсем понял, что старик имел в виду под суетой: каждодневное бытие или обивание порогов в погоне за степенями, званиями и наградами... Ждал, чем тот закончит, но Гульковский замолчал и погрузился в себя. А проще говоря – отключился, со стариком последнее время это случалось: говорит–говорит и вдруг замирает, то ли пугая собеседника неожиданным переходом в мир иной, то ли погружаясь в ведомые только ему иные сферы существования. Синицкий тоже прежде пугался и затихал, прислушиваясь, дышит ли..., теперь привык к этим сонным паузам. Что поделать, старику за восемьдесят, устаёт.

– Русский человек обладает удивительной склонностью перенимать, – бодрым голосом, словно и не было этой паузы, продолжил Гульковский. – Этакое независтливое перенимание всего, что внове, что есть у других.

К чему бы это, подумал Синицкий, речь ведь шла совсем о другом.

– Помню, в юности меня заинтересовала психология отношения наших и французов во время войны восьмьсот двенадцатого года. Парадокс, но наше общество не считало французов врагами. Я



имею в виду, естественно, дворян, офицеров; крестьяне видели в них именно врагов и не щадили. – Он помолчал, словно что-то вспоминая. – Очень мне хотелось понять причину этого милосердия к врагу. Я так и сформулировал тему: милосердие к врагу как национальная черта. И даже сейчас помню, от чего хотел оттолкнуться. – Он поднял на Синицкого глаза, спрятавшиеся под седыми кустистыми бровями. – «Тело мое родилось в России, это правда; однако дух мой принадлежал короне французской». Знаете, откуда это?

– Нет. – Мотнул головой Синицкий, запоздало осмысливая услышанное, потому что думал совсем о другом.

– Это, мой юный друг, слова одного из персонажей пьесы «Бригадир» Дениса Ивановича Фонвизина. И сформулирован сей постулат задолго до наполеоновского нашествия. И вот что удивительно, французы завоевали Россию без всякого оружия книгами Дидро, Вольтера, парижской модой, Версалем... Вы знаете, Станислав, перед войной семь книг из десяти в России выходили именно на французском языке. И немало было тех, кто знал этот язык лучше родного, что и подметил Фонвизин. Признаться, я и сегодня не понимаю, зачем Наполеону нужно было завоёвывать страну оружием, если стоило приложить ещё немного усилий, добавить гувернанток-француженок, французской моды, французской философии – и мы сами бы сдались... После взятия Бастилии из Франции к нам переехали почти пятнадцать тысяч французов. Представляете, какой десант, какая пятая колонна. – Он замолчал, задумался, ловя ускользящую мысль, и неожи-

данно признался. – Я вот сейчас подумал, а может быть, Бонапарт как раз и рассчитывал на эту колонну. Как вы считаете?

– Я? – Сеницкий растерялся. – Я как-то не думал об этом. – И уже уверенно добавил. – Но это интересная мысль.

– Он ведь не был готов к долгой войне, он не собирался долго кормить и одевать армию... Но мы отвлеклись, я всё же хотел сказать не об этом. Я размышлял о заимствованиях. О том, что русский язык тогда весьма обогатился французскими словечками, новыми смыслами. А знаете, в ходе военных действий офицерам было даже запрещено говорить по-французски. Русские крестьяне могли принять их за французов и поднять на вилы.

Старик совсем оживился, даже щёки утратили привычную бледность. Тут хочешь не хочешь, а будешь слушать. К тому же то, о чём он говорил, Сеницкий не знал, и ему действительно было интересно.

– Взаимоотношения народов – тема библейская. Вечная. Краеугольная. – Старик прищурился. – Со времён строительства Вавилонской башни. А между родственными народами отношения, к тому же, не поддаются голому рассудку. Тут полно эмоций. Элементарных человеческих чувств. Зависти, обиды, гордыни. Так что, мой друг, вы можете поддаться этим эмоциям и согрешить против истины. – Гульковский задумался. – Впрочем, объективной истины не существует. Все мы живём в субъективных мирах, и у каждого истина своя. Но кое-кому выпадает признание его истины истинной. Так что, – дерзайте...

Он неторопливо, экономя движения, поднялся



со скамейки, на которой они сидели. Рукой с выпирающими венами перехватил поудобнее трость.

– Вы уж извините, мой друг, пора мне отдохнуть...

И, не ожидая слов прощания, медленно пошёл по аллее к выходу из парка. И вдруг остановился, обернулся.

– Да, мой юный друг, думаю, вам будет интересно это знать: вместе с Наполеоном в Россию пришли почти сто тысяч наших с вами предков. Братья нередко бьются до крови... Кстати, прародителем того же Фонвизина был немецкий барон, взятый в плен. Возможно, и наши прародители из пленных улан.

Пожалуй, он прав, подумал Синицкий, среди родственников всегда так всё напутано. А уж между некоторыми родственными народами – вековечное соперничество...

Как-то у них был разговор по поводу своих родословных: фамилии схожие, польские. Да и родились они оба в Смоленске, который входил и в княжество Литовское, и в Речь Посполитую.

После того разговора он пытался найти свои корни, но что найдёшь после стольких войн, когда всё дотла выжигалось, он даже про своих дедов ничего не нашёл. Пока те живы были – не догадался расспросить, а когда созрел для понимания жизненной важности знаний о своих предках, – не у кого было спрашивать. А в архивах руками развели: утрачены все документы во время войны последней, если и не сгорели, то где-то утеряны безвозвратно. Вот и остался он без фундаментальной опоры, словно не продолжает начатое предками, а новое начинает.

Надо будет посмотреть в интернете, может, кто из Синицких отметился в каких-нибудь записках о той давней войне...

Его руководитель Бельский (может, тоже с польской кровью) не намного старше, но уже доктор наук. Приверженец демократии как оптимальной низшей формы государственности. Высшей он считает единоначалие. Но не монархию, а универсальное управление из единого центра, и глобализацию как экономическую скрепу всего человечества и панацею от войн. Собственно, кандидатская Синицкого – это развитие одного из положений теории Бельского о неизбежности глобального слияния цивилизационных потоков в единый. Он убеждён, что не за горами тот день, когда экономика создаст универсальный язык, и история человечества обретёт новую культуру, в которой индивидуальное, самобытное перестанет воссоздаваться, а общечеловеческое, общепонятное станет единым, и культура перестанет быть разномастной и, зачастую, ненужной надстройкой. Правда, уровень культуры придётся опускать искусственно в тех уголках мира, где он сегодня неоправданно высок и не востребован большинством, и поднимать там, где низок, для гармоничного функционирования индивидуумов.

– Но если мы будем равняться на племена Амазонки, то не слишком ли низок он будет. И так уже в моде татуировки. Вот только голыми ходить климат не везде позволяет, – высказал свои опасения Синицкий.

– Твою иронию понимаю, – поглаживая клины-



шек начавшей расти рыжей бородки, произнёс Бельский. – Но опасений не разделяю. В универсальную культуру войдут только массивные традиции. Племенные или групповые пристрастия слишком мелки, чтобы как-либо влиять даже на подобные им образования. А что касается татуировок, то они действительно свидетельствуют о низком уровне культуры, но, возможно, на этом, приемлемом большинством уровне, мы сейчас и находимся. И, между прочим, это может стать предметом для исследований, войти отдельной главой в твою диссертацию...

Бельскому нравится тема диссертации Синицкого. Он говорит, что в ней заложено предвидение будущего. В этом будущем индивидуализм приобретёт форму полной независимости от условностей морали и будет подчиняться исключительно прагматичной реальности. Каждый человек будет несравнимо сильнее ныне живущих, даже самых продвинутых, не телом, конечно, а умственным потенциалом, знаниями, умением, но, в то же время, будет находиться в гармонии с установленным общеземным порядком. Государств не будет, и одного, как такового, всемирного государства тоже не будет. А вот что будет, это они ещё не придумали. Доселе история человечества зиждлась на коллективизме, на сложении усилий многих для решения непосильных для одного задач. Пример тому – войны. Один в поле, действительно, не воин. Хотя и есть в прошлом примеры, когда богатыри выходили сражаться один на один. Как Пересвет и Челубей на Куликовом поле. Но это всего лишь литературные персонажи, никто не знает, было ли так на самом деле...

И что не понравилось Гульковскому?

Ничего щекотливого в теме диссертации, просто старик мыслит прошлыми стереотипами. Старость прозябает на воспоминаниях. На пережитых эмоциях и опыте. Когда-нибудь и он будет стареньким, тогда тоже будет стоять на отжившем. А придут новые молодые. Дерзкие...

А почему отжившем?.. Нет! Так даже думать нельзя. Именно это Гульковский и имел в виду: почиваешь на лаврах, и вдруг приходит некто и свергает...

Надо ответить, давно уже кто-то настойчиво стучит в смартфон.

– Слушаю.

– Почему так долго не отвечаешь?

– Задумался. Вернее, не слышал, по улице иду.

Шумно.

– Я уже хотела отключиться... Ты когда сегодня будешь?

– А что?

– Давно тебя не видела.

– Мы же только утром... – начал и запнулся. Мужская и женская логики – это полярности. У них и время по-другому идёт, и земля крутится по желанию... – Хорошо, моя родная. Сразу же после вечернего удара курантов...

– Стас, мы сегодня едем к маме.

Вот так. Без прелюдий и не: «сможем ли мы?», или: «хочешь ли ты?», а «едем». Но с точки зрения будущего устройства общества это и есть отношения общепринятого порядка и индивидуальности, которая вынуждена подчиняться, оставаясь зависимо-свободной...

Нет, что-то в этой формулировке не так. Надо



будет подумать...

– Вообще–то я... – попытался проявить индивидуальную мощь.

– Не задерживайся.

Надо было подготовить основание отказа. Тем более, что подобное можно было предположить ещё вчера, по разговору за ужином.

– Хорошо, постараюсь.

– Я жду.

Вот она – категоричность порядка.

Вообще-то с тещей у Синицкого отношения самые благостные. Он старается ей реже попадаться на глаза, она при нём о нём дипломатично молчит. Но хотя бы раз в месяц требует на заклание к себе в гости. Когда был жив тесть, эти посиделки особо не напрягали. Они с тестем могли выйти на балкон и поговорить о своём, мужском; теперь же сидеть между двумя женщинами, неустанно говорящими о том, что ему непонятно и неинтересно, было мукой. Прежде он пытался следить за канвой разговора и даже вмешиваться. Но скоро понял, что канва не радует новизной или оригинальностью, а вмешательство неуместно и чревато непониманием. Но ведь и не уйдёшь, Марина обидится. А обижается она долго, несколько дней не замечая его присутствия в доме и, естественно, не слыша.

Хотя, видит Господь, он бы сегодня вечером с большим интересом и радостью полазил бы по интернету. Разбередил его ностальгию по прошлому Гульковский.

...Действительно, Юзеф Понятовский привёл Бонапарту почти сто тысяч поляков Герцогства

Варшавского. Привёл с надеждой восстановить былые границы Речи Посполитой. Нет, психология державного величия не умирает... В победоносном начале кампании даже распространяли листовку на русских землях, адресованную именно полякам. «Поляки! Вы служите под русскими знамёнами. Эта служба была вам дозволена, пока у вас не было отечества. Но теперь всё изменилось. Польша воскресла, и теперь надо сражаться ради её полного восстановления, ради того, чтобы заставить русских признать права, которые были у вас отняты несправедливостью и силой. Генеральная конфедерация Польши и Литвы отзывает всех поляков с русской службы. Польские генералы, офицеры, солдаты! Повинуйтесь голосу отечества: покиньте знамёна ваших притеснителей, спешите все к нам, чтобы стать под знаменем Ягеллонов, Казимиров, Собеских! Об этом просит вас Отечество, повелевает честь и религия!»

Под русскими знамёнами было тоже немало поляков. Четырнадцать генералов, почти треть офицерского состава. Были польские полки улан и гусар.

Но всё же с Бонапартом пришло их больше. И именно полки Понятовского были главной ударной силой в Смоленском сражении.

Отчего я прежде не интересовался этой темой? – удивлялся Сеницкий, сидя перед компьютером и делая выписки из открывавшихся документов. Находил, читал и всё надеялся наткнуться на свою фамилию. На сообщение о неведомом предке, который, конечно же, воевал на той или иной стороне... И ему отчего-то казалось, что именно в событиях вокруг Смоленска этот предок должен



каким-то образом проявиться. Хоть одним упоминанием, сочетанием букв в фамилии... Не мог он там не быть. Другое дело, неизвестно, на чьей стороне...

Но вот Матеуш Заремба точно был на той стороне. Его письмо нашли в Смоленске между кирпичами городской стены. «Милый брат! Мы уже под Смоленском. Наполеон думает его взять. Но русские дерутся, как львы. Даст Бог – дойдём до Москвы. Вот там заживём! Мюрат мне обещал, что, когда дойдём до Москвы, он сделает меня генералом».

По-видимому, генералом Тадеуш так и не стал, но потомки его брата, несомненно, живут сегодня в Польше...

Если верить летописцам, то в прежние времена Смоленск был более неприступным, выдерживая длительные осады. На этот раз сражения в его предместьях длились всего пару дней. Слишком велика была разница в численности наступавших и оборонявшихся. Если, опять же, верить запискам очевидцев, то отваги наступавшим было не занимать. Он нашёл записки русского офицера Фёдора Глинки, уроженца этих мест, который писал в своих заметках: «...поляки в бешеном исступлении лезли на стены, ломались в ворота, бросались на валы и в бесчисленных рядах теснились около города по ту сторону Днепра».

Потом Наполеон отдал приказ сжечь город. Начался артиллерийский обстрел...

А наутро русские войска оставили сожжённый город, призвав его население к народной войне...

Было начало августа, ещё стояло тепло. Склады наполнились запасами продовольствия. В захвачен-



ном Смоленске французы оставили гарнизон для сбора продовольствия. Военный комиссар виконт де Пюибюск, оставшийся с сыном в составе гарнизона, в своих письмах жалуется, что «жители при нашем приближении разбегаются и уносят с собою всё, что только могут взять, и скрываются в густых, почти неприступных лесах». А голодных солдат, разбредаящихся в поисках пищи по окрестностям, мужики забивают дубьём. «Голод губит людей. Мёртвые тела складывают в кучу, тут же, подле умирающих, на дворах и в садах; нет ни заступов, ни рук, чтобы зарыть их в землю».

Потом, правда, положение выправляется, а в сентябре в гарнизоне радуются победе под Бородино. Но тут же пришло распоряжение о том, чтобы «отправить из Смоленска в армию всех, кто только в состоянии идти, даже и тех, которые ещё не совсем выздоровели».

В середине октября ударили морозы. Теперь виконт пишет, что «люди гибнут на бивуаках от холода». А в конце октября он сообщает родным: «Сейчас получили мы официальное известие, что Наполеон с армией оставил Москву и отступает к Днепру; однако, неизвестно ещё, какую пройдёт он дорогой. Каждый день раненые генералы и офицеры возвращаются в Пруссию, не дожидаясь выздоровления; многие из них без всякого разрешения едут на первый случай из предосторожности в г. Вильну. Меня долг и честь удерживают лишь в г. Смоленске, и я решил ожидать здесь судьбы своей».

Спустя две недели виконт уже паникует. «Вчера прибыл сюда Наполеон с гвардиею. От ворот Московских до самой квартиры своей, в верхней



части города, шёл он пешком. Выход на гору покрыт льдом; а т.к. в городе нет ни железа, ни кузниц, то весьма трудно втаскивать повозки на гору; лошади так измучены, что если которая упадёт, то уже не может встать. Сегодня мороз 16 градусов. Наши солдаты, прибывшие из Москвы, закутаны иные в шубы мужские и женские, иные в салоны или шерстяные и шёлковые материи, головы и ноги обёрнуты платками и тряпками. Лица чёрные, закоптелые; глаза красные, впалые, словом, нет в них и подобия солдат, а более похожи на людей, убежавших из сумасшедшего дома. Изнурённые от голода и стужи, они падают на дороге и умирают, и никто из товарищей не протянет им руку помощи.

Из предосторожности, чтобы голодные солдаты не бросились грабить магазины, решено армию оставить за валом вне города, по близости конюшен»...

Каково было там польским уланам из армии Понятовского? – мелькнула мысль, в которой вполне можно было распознать и жалость к врагам его русского отечества...

Если исходить из того, что в будущем все нации сольются в единое безнациональное человечество, то отчего бы не посочувствовать побеждённым.

Но вот каков Наполеон, приказавший, как пишет виконт, «распределить провиант так, чтобы гвардия была удовлетворена, а остальных предоставить воле Божией».

А с другой стороны, разве не эта логика заботы не обо всём человечестве, а о малом его количестве, пронизывает труды Бельского, на чём строится и его диссертация.

Эта мысль, не совсем приятная, противоречащая чему-то усвоенному и принятому как аксиома – в нём, в его мировоззрении, напомнила о разговоре с Гульковским. Но он не стал углубляться, решил разобраться, как видели происходящее победители, среди которых тоже были поляки.

Вслед за отступающим врагом движется армия русская, в составе которой Фёдор Глинка, адъютант при генерале Милорадовиче. Он тоже, как и виконт, всё замечает, всё фиксирует.

«В каком печальном виде представлялись нам завоеватели России!.. По той дороге, по которой шли они так гордо в Москву и которую сами потом опустошили, они валялись в великом множестве мёртвыми, умирающими или в беднейших рубищах, окровавленные и запачканные в саже и грязи, ползали, как ничтожные насекомые, по гудам конских и человеческих трупов».

Жалостлив и милосерден Фёдор Глинка.

Именно в таких испытаниях познаётся истинное и обнажается ложное.

А виконт продолжает записывать то, что видит он.

«Вчерашний день императорская гвардия выступила из города через Виленские ворота по направлению к г.Красному. Теснота была ужасная, самого Наполеона чуть не задавили. Многие раненые убежали из госпиталей и тащились, как могли, до самых городских ворот, умоляя всякого, кто только ехал на лошади, или в санях, или в повозке, взять их с собою; но никто не внимал их воплям; всяк только о своём спасении думал. Через несколько часов я с главным штабом оставляю город; неприятель ожидает нас впереди на дороге».



Возможно, там, под городом Красным, дороги де Пюибюска и Глинка пересеклись, и французский виконт видел то, что видел русский офицер.

«Здесь, во рву, подле большой дороги, среди разбитых фур, изломанных карет и мёртвых тел, кроме шуб, бархатов и парчей, можно купить серебряные деньги мешками!.. Но там, где меряют мешками деньги, нет ни крохи хлеба! Хлеб почитается у нас единственной драгоценностью!.. Один из наших проповедников недавно назвал французов обезчеловечившимся народом; нет ничего справедливее этого изречения. Положим, что голод принуждает их искать пищи в навозных кучах, есть кошек, собак и лошадей; но может ли он принудить пожирать подобных себе. Они нимало не содрогаются и с великим хладнокровием рассуждают о вкусе конского и человеческого мяса!».

Так война развенчивает нацию, доселе являющуюся примером для подражания...

Фёдор Глинка победно прошёл до Парижа, вернулся домой победителем, прожил долгую жизнь – девяносто четыре года. Что же касается виконта де Пюибюска, то он со своим сыном был взят в плен и самым уважительным образом представлен сначала генералу Мартынову, потом графу Платову, затем генералу Ермолову и, наконец, фельдмаршалу Кутузову. После чего с удобствами препровождён в Санкт–Петербург. И, вероятно, вернулся домой.

Таково милосердие победителей...

На всякий случай Синицкий сделал себе выписки из найденных документов.

– Стасик, во сколько же ты встал?



Марина прижалась животом к его плечу. Живот был упругий, большой и тёплый. Синицкий в который раз удивился, как из ничего получается что-то. Им уже сказали, что это «что-то» будет девочкой. Сейчас он подумал, что хорошо было бы, если бы врачи ошиблись. Не потому, что хотел мальчика. Девочка даже лучше. Просто хотелось, чтобы была тайна, которая раскрылась бы только с рождением нового человека. Он из рассказов родителей знал, как прежде умели этому радоваться. Вообще, раньше в их жизни много было того, что приносило радость. Вспоминая свою молодость и ту страну, которой уже не было, они, не забывая о пустых прилавках магазинов и дефиците, почему-то считали более важной ту радость, что получали, доставая этот самый дефицит, а потом, собирая за праздничным столом близких людей, и радуясь уже общению.

– Я не помню, когда ты лёг. Работал допоздна?

– А что, уже утро?

Он посмотрел в окно. За шторами была всё та же ночь. Но, возможно, уже, действительно, утро, на дворе – декабрь, самые длинные ночи.

– Так ты совсем не ложился?

– Днём высплюсь, сегодня у меня творческий день.

– Скорей бы ты закончил свою диссертацию, – вздохнула жена и, наклонившись, касаясь налитой грудью его плеча и пахнув запахом молока, поцеловала его в лоб.

Как маленького.

Он заметил: когда жена поняла, что беременна, она стала вести себя иначе. Прежде она был избалованной девчонкой, любившей подольше пова-



ляться в постели, не очень озабоченная, чем накормить мужа, и предпочитающая готовке обеды в кафе. Теперь же начала готовить дома. Правда, не так много она умела. Но старалась хоть раз в неделю приготовить какое-нибудь новое блюдо. И всё прислушивалась к себе, подробно рассказывая о своих ощущениях и заставляя его прикладывать ухо к животу, без особой надежды, что он что-либо услышит. Но зато теперь она не капризничала и не заставляла исполнять нелепые желания.

– Что тебе приготовить на завтрак?

– Что и себе, – сказал он, всё ещё глядя на монитор, но уже понимая, что на этом сегодня можно поставить точку.

– Будешь омлет?

– Пусть будет омлет, – согласился он.

– А может, лучше сварить кашу?

– Можно и кашу.

– Нет, лучше омлет. Это быстрее... А может, ты сам сделаешь? – обернулась она в проёме двери, вся уютно-округлая, в прозрачном пеньюаре, и он невольно залюбовался ею, ловя себя на горделивой мысли, что у него такая красивая и желанная жена.

– А может, вместе ещё поспим? – поймав себя на желании, в тон ей произнёс он, хотя та, которую жена носила в себе, уже явно не желала никакого вмешательства со стороны. – Я тебя поглажу и дочку послушаю...

– Стасенька, у меня творческих дней нет. У меня сегодня первая пара.

– А, ну да. Студенты не ждут.

– Опоздаешь – упорхнут... – дополнила она.

– Ладно, иди одевайся, я сделаю омлет.

...Очевидно, что мой предок в той войне выжил, – думал он, взбивая яйца. – Другое дело, неизвестно, на чьей стороне он воевал... Вот она – загадка его генной цепочки. И попробуй разгадай её, если тебя отделяют ещё две или даже три, если считать гражданскую, войны. И революция, которая всё сбילה-смешала так, как он сейчас сбивает яйца; уже ни белка, ни желтка, а однородная бледно-жёлтая масса...

Но Гульковский прав: нельзя прогнозировать будущее, не зная прошлого...

– Мы с вами встречаемся в одном и том же месте.

– Так я ведь знаю, что это ваша любимая скамейка, и когда вы здесь предаётесь размышлениям, обогащающим нашу науку.

– Вы, молодой человек, умеете так льстить, что трудно разобрать – это лесть или сарказм.

– Только не сарказм. Избави Бог. Вы же знаете, что я, действительно, считаю ваши работы важными для науки. На многие из них я ссылаюсь в своей диссертации... Ваша методология оценки будущего через призму прошлого – это как фундамент, без которого всё строение рухнет.

– У вас сегодня юношеское настроение, Станислав.

– И всё почему, Иван Васильевич? Всё благодаря вам.

– Интересно, чем же я вам поднял настроение?

Старик заинтересованно повернул голову, сел вполоборота. Достал из кармана пальто большой носовой платок, промокнул им слёзы, выжатые утренним морозцем.

– Позавчера ночью, благодаря вам, я отправился в прошлое. И узнал много нового для себя.



– Мне казалось, вас интересует исключительно будущее. Вы ещё не перевалили за тот самый рубеж, когда прошлое становится настоящим.

Синицкий помедлил, осмысливая этот синтез прошлого и настоящего, который предложил старик, и согласился с ним. Пока теоретически, потому что его настоящее, действительно, более переплеталось с будущим. А вообще стоит поразмышлять над подобными петлями времени. И над собственным пересечением личной оси Хроноса. А может быть, это пересечение случилось именно сейчас...

– А может быть, это уже произошло.

– Ну что вы. Вам ещё рано, Станислав, какие ваши годы. У вас всё ещё впереди... в вашем общечеловеческом мироустройстве... Вы всё так же продолжаете верить в единый мировой порядок?

– Признаться, после экскурсии в прошлое появились некоторые сомнения.

– Вам следует заглянуть ещё дальше в кажущееся минувшее. Всё, что есть, и что будет, уже было. «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чём говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас». И в книге книг всё изложено, весь цикл существования человечества от начала до конца. От альфы до омеги... Вы ведь знаете предание о строительстве Вавилонской башни?

– Насколько это может быть известно не специалисту. О том, что после потопа оставшиеся в живых правильного вывода не сделали, урок не поняли, гордыни не утратили, отчего и взялись за строительство башни, чтобы добраться до неба.

Господь тогда один язык разделил на множество и рассеял их по земле.

– Зачем Он это сделал?

– Не хотел, чтобы тайное стало явным. Чтобы человек мог с Ним сравняться.

– Молодой человек, у вас явно атеистическая закваска. Хотя вы ведь уже не были пионером...

– Не был. Но слышан. – Синицкий вспомнил сравнение человечества с муравьями, которое очень нравилось Бельскому. – Но мне кажется, что Господу нет никакого дела до человечества. Как нам нет никакого дела до муравейника, в котором суеются муравьишки.

– Этим сравнением вы принижаете предназначение человечества.

– Мне бы понять своё собственное предназначение.

– Если вы это поймёте, станете подобны Господу... А знаете, почему Он не позволил построить башню? Потому, что это конечность. А конечности не должно быть. Её нет.

Гульковский замолчал. Сидел, съёжившись, спрятав маленькое морщинистое лицо в поднятый воротник пальто, и водил перед собой тростью, вырисовывая на грязном истоптанном снегу хаотичные линии.

– Вы знаете, почему не будет единого человеческого общества? Потому, что всё в этом мире подчиняется закону единства и борьбы противоположностей. Мир, созданный Богом, или, если хочешь, единым мировым законом, изначально полярен во всём. В нём было, есть и будет всегда две противоположности, два полюса. На одном будет концентрироваться доброе, на другом злое.



Исключительно доброе или исключительно злое – это конечность, которой в бесконечном мироздании быть не может...

– Но вы ведь конечны. И я тоже. Как все люди. – Не совсем уверенно произнёс Синицкий, понимая, что сейчас уподобляется школьнику, надеющемуся к своим скудным познаниям добавить нечто очень важное.

– Я говорю, Станислав, – вы заражены атеизмом. А атеизм – это не наука. Это отрицание истинной науки.

– А как же монография Бельского с его аргументированным обоснованием однополярности и признанная теорией.

– А признанный Кампанелла с его городом Солнца?.. Это утопии, мой молодой друг, это не наука.

– Вы меня смутили, Иван Васильевич.

– Смущаться – привилегия молодости. И творческого поиска... Холодно... Мне пора в тепло, кровь уже не греет.

Старик поднялся. Опираясь на трость, постоял, словно привыкая к тверди под ногами и никак не решаясь сделать первый шаг. И неожиданно произнёс:

– А многополярность – это всего лишь дробление единой полярности. Рано или поздно она начинает вновь складываться и снова дробиться. Но это не закон. Это циклы. Так что Бельский открытия не сделал, а с учётом нынешних скоростей, боюсь, что на лаврах почивать ему долго не придётся.

Бельский – олицетворение успешности. Ему

немногим более сорока, но он уже доктор наук и признанный авторитет. Выглядит он молодо. Одевается современно: не броско, но модно. Демократичен. Хотя ни к какому политическому течению себя не относит, утверждая, что в эту графу в анкетах всегда вписывал бы только одну партию – партию науки.

У Бельского такая же успешная и профессионально востребованная жена. Она работает в финансовой структуре и умеет из ничего делать деньги. Это по утверждению Бельского, который о своей жене почему-то всегда говорит с улыбкой. Живут они вдвоём в загородном доме жены. Детей у них нет. Но и союз они образовали всего лишь пару лет назад. До этого Бельский поменял несколько влюблённых в него студенток, но ни с одной не ужился.

У Сеницкого отношения со своим шефом самые дружеские. Но не панибратские. Бельский любит иногда пооткровенничать. Может быть, и не до конца. Не обо всём. Но Сеницкий знает, что настоящая любовь у него осталась далеко в прошлом, когда он был студентом. И она тоже. Но если бы он тогда женился, то вся учёба пошла бы насмарку. А следом и аспирантура, и всё остальное, что у него есть сегодня. Если откровенно, тогда он любовь ставил ниже, чем карьеру и успех. Впрочем, и сегодня он не уверен, что поменял бы на любовь то, что имеет.

С нынешней женой у Бельского деловой союз, без всяких романтических фантазий и заскоков. Совместное проживание под одной крышей. И им обоим ещё рано заводить детей. А может, и не стоит вовсе. Во всяком случае, пока они потребнос-



ти в детском плаче не ощущают.

Свой разговор с Гульковским Синецкий пере-
сказал шефу. И выразил свои сомнения по поводу
выбранной для диссертации темы.

– Да, старик совсем отстал, – вздохнул Бельский.
– А ведь был когда-то в авангарде, я с него брал
пример. Вот, Станислав, что с людьми делает
возраст. Я решил, что когда почувствую себя рет-
роградом, запрусь в своей домашней келье и не
буду никого смущать своими сомнениями.

– А если он всё же прав? – настаивал Синецкий.

– Он не прав. – твёрдо сказал Бельский. – Он
человек не только уходящей эпохи, но и ушедшего
уклада. Говоря сегодняшним языком – у него
устаревшая программа с малым объёмом оператив-
ной памяти. Он всё ещё живёт библейско–комму-
нистическими постулатами. А мы, всё вокруг стало
другим. Он идёт в другую сторону.

– Что значит в другую... Мы все идём в одну.
Человечество развивается по восходящей спира-
ли, ценности у нас одни и те же...

– Ценности может быть и те же, – неуверенно
произнёс Бельский, – но отношение к ним другое.
Ну как бы тебе... Впрочем, ты и сам не дурак,
видишь, что на нашей планете сегодня живёт
слишком много людей. Ты где-нибудь видел
гигантский муравейник? Высотой хотя бы с дом?

Синецкий покачал головой.

– Таких муравейников, в принципе, не может
быть. Потому что муравейник имеет размеры
сообразно форме и численности муравьёв. Так вот,
наша планета – это тоже своеобразный муравей-
ник, как заметил один из философов недалёкого
прошлого – человеёйник, и она имеет свою челове-

коёмкость. И в муравейнике нет бездельников, там трудятся все, и у каждого своя функция, своя задача. Вот это и есть гармония. Мы, человеки, сегодня осознали, что гармония – это оптимальное соотношение численности населения и размеров земной поверхности. И начинаем создавать гармоничный мир.

– Теория золотого миллиарда... Признаться, я не верю в глобальный заговор неведомо кого.

– Ну, во-первых, не заговор, а деяние. А во-вторых, почему неведомо кого... Даже Генеральный секретарь ООН в одном из своих докладов отметил, что всего лишь двадцати шести кланам принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты. Естественно, эти двадцать шесть несут глобальную ответственность. Есть ещё такая статистика: один процент населения земли имеет столько же собственности, сколько остальные девяносто девять процентов. Надеюсь, ты не будешь спорить, что тот, кто больше имеет – больше и радеет. Один процент – это чуть больше семидесяти миллионов человек, вот они и создают будущее.

– Строят новую Вавилонскую башню.

– Причём здесь эти притчи, – поморщился Бельский. – Я всё это тебе говорю, чтобы ты чётко понимал, на кого мы работаем, кому нужна наука. И исходил из запросов заказчика.

– А я считал, что наука – это провидица всего человечества.

– Это банально. Если не глупо. Ты уж не обижайся. – Посмотрев куда-то выше головы Синицкого, не без пафоса произнёс: – Наука – это служанка доминирующей социальной группы.



– То есть, мы всего-навсего обслуга богачей...

– При чём здесь богачи? Это эмоции, недостойные учёного. И даже вредные. Мы прокладываем рельсы в будущее, но не для всего человечества, а для деятельной его части. Что тебя не устраивает в этой формуле?

– Пока не знаю. Но что-то не нравится.

– Выбрось все эти мысли из головы. Тему мы взяли самую выигрышную. Работай.

– Стасик, приезжай быстрее!

Голос у Марины взволнованный. И ни слова в объяснение, почему он должен бросать всё и лететь к ней. Хотел ещё пару часов покопаться в трудах великих предтеч, утвердиться в выбранной теме. Бросил всё-таки Гульковский зерно сомнения. Но и за Бельским правда. Вот они – две правды, и он между. За ним выбор...

Раньше Марина позволяла себе такие капризы. А когда он прилетал сломя голову, открыв дверь, обиженно произносила: «скучно мне», и делала рожицу избалованной старшеклассницы, отчего весь его праведный гнев вмиг испарялся.

...Набрал номер. Долго ждал, но жена не отвечала. Может, отключила звук, за ней это водилось – пребывать в недоступности, а может, действительно, что случилось. Всё-таки беременная...

Заложил закладки в недочитанные книги, черкнул план первоочередных дел на завтра и поехал домой.

Взлетел на пятый этаж так, что стоя у двери никак не мог отдышаться, и когда Марина открыла, жива-здоров, долго не мог ничего сказать. Только глотал воздух...



– Она пинается...

Жена капризно сложила губки, ожидая если не поощрения, то заинтересованности, и он наконец смог произнести:

– С тобой всё в порядке?

– Она пинается, пощупай... – Жена взяла его руку. – Фу, холодная. Иди, погрей горячей водой.

– Могла сказать по телефону. Я нёсся как угорелый...

– Вам не понять беременных женщин.

– Нам просто женщин не понять.

– Вот опять. – Марина положила свои руки на живот, словно оценивая размер. – Погрел?

– Да.

– Давай руку... Положи сюда...

Она своей рукой обхватила его ладонь, прижала к горячему животу, и он действительно ощутил мягкие толчки, словно там что-то укладывалось поудобнее.

Надо же, – подумал, удивляясь, – где-то там, в чреве, что-то живёт... Жизнь зарождается в жизни... Действительно, ему этого не понять.

И вдруг вспомнил о том, что планета уже перенаселена, и чтобы вернуться к той самой разумной численности народонаселения, первым делом запретят рожать. И те, кто будет жить завтра и послезавтра, так и не узнают, что такое быть матерью и отцом...

– Тебе нравится наша девочка? – шёпотом спросила Марина.

– Ну, в общем... – Он замялся, помедлил и твёрдо произнёс. – Нравится. Подержал ещё ладонь на животе, хотя никто уже не толкался.

– Всё. Утихомирилась. Ты ей понравился. Давай



будем ужинать.

Марина развернулась и пошла на кухню.

Глядя ей вслед, он вдруг осознал, что теперь их уже не двое. Их уже трое. И тот третий, пока ещё материально осязаемый вот только так, наощупь, совсем скоро многое переменит в их маленьком мире. Сначала в их маленьком, а потом и в большом. Вместе с теми, кто ещё не пришёл в него. Но придёт. Должен прийти...

– Ты знаешь, я, наверное, сменю тему диссертации, – неожиданно для самого себя сказал он.

– Почему? Бельский предложил?

– Нет. Не он... Ты вот скажи, какое будущее ты хотела бы для нашей дочери?

– Странный вопрос. – Удивилась она. – Кто же хочет своим детям плохого будущего. Только хорошее.

– Это понятно. Чтобы ты выбрала: однополярный мир, в котором нет вражды, насилия, войн или тот, который есть сейчас – с противостоянием, враждой, насилием....

– Конечно, первый.

– Но в том первом мире будет жить не более миллиарда.

– А остальные шесть?

– Они должны покинуть этот мир.

– А наши с тобой дети будут в этом миллиарде?

Синицкий помедлил. Вспомнил приведённые Бельским цифры.

– Не уверен.

– Тогда зачем спрашиваешь. Я за то будущее, в котором будут жить наши с тобой дети, внуки и правнуки... Садись ужинать... Мы с дочкой проголодались.

...Ночью ему приснился виконт Пюибюск. Он стоял посреди белоснежного поля в короткой женской, явно маленькой для него, шубке и смотрел в ту сторону, где поле соединялось с белесым небом. «Время настоящего беременно будущим, – говорил он. – Но мало кому дано распознать это... Мало кому – и все остальные просто обманывают себя...»

Не все, хотел возразить Синицкий. Я не обманываю. Я, действительно, хочу увидеть будущее...

Но виконт его не слышал, он стал сливаться с полем и уходить, уплывать к горизонту...

Синицкий проснулся с уверенностью в том, что он знает, что делать.

Тонкий мир

– Драматургия Шекспира – для тех, кто буреваем низменными страстями, кто сам подвержен зависти, лицемерию, жажде владения. Таких людей немало в нашем мире, поэтому спрос на Шекспира вечен.

Профессор окинул аудиторию взглядом: поняли ли его эти, сидящие перед ним, уже не дети, но ещё и не взрослые. Сверили ли сейчас собственные мысли с Шекспиром? Кто из них настолько подвержен порочным страстям, что готов состязаться с признанным классиком, а кто будет верен бескорыстием и создавать образы светлые, непорочные...

– Гений Шекспира заключается в том, что он перевёл тонкие движения бессмертной души в грубый мир смертных, – добавил он, не давая опомниться, осмыслить прежнюю формулу.

И взял драматургическую паузу.

Просто сидел за столом и смотрел в окно.



За окном были первые осенние дни, видимые верхушки деревьев уже пожелтели, настраиваясь на падение и увядание. Так, собственно, и человек: прежде настраивается и лишь затем уходит... Туда, где нет страстей и грубого мира... Впрочем, это им ещё рано знать, как и трудно постичь бессмертную гениальность смертного драматурга. Они скорее примут автора похожим на его персонажей, низведя до своего уровня.

И опять обвёл взглядом немногочисленных юных талантов: кто из этой дюжины действительно создаст что-то стоящее и увековечит своё имя – никто, кроме Господа, не знает. Даже он, мастер, может ошибиться, как уже и случалось в прошлом, когда не разглядел, отнёс к графоманам упёртого, образованного на уровне школьных знаний, сибиряка. А тот вдруг, спустя годы, возьми и начни писать так, что диву дался – откуда это глубинное и пронзительное понимание драматургии жизни... И, признаться, только тогда впервые и усомнился в собственном таланте.

– Ромео погибает, а Джульетта решает отравиться, чтобы не разлучаться с любимым. Непреодолимая, до самоуничтожения, страсть обладания чем-либо или подростковая психология непонимания конечности бытия?.. А может, знание о бессмертии там, в загробном мире?.. Гамлет мучается нравственным падением близких ему людей, изменой, он жаждет мести и, в то же время, страдает оттого, что осознаёт порочность, греховность этого желания. Отчего? Оттого, что он не утратил связи с тонким миром, в котором каждому воздастся по добродетелям и по грехам. В отличие от прочих, он это знает. Или не забыл.

«Вот и мне воздастся в своё время», отвлекла неуместная мысль.

– А мы не в тонком, мы живём в этом, осязаемом всеми нашими чувствами, мире.

Сказано негромко, твёрдо и с убеждённостью.

Это Кирилов.

Может быть, на сегодня самый талантливый его ученик. У него уже есть пьеса, написанная по всем законам драматургии. И, вроде, с каким-то театром он договорился о постановке.

Этот пробьёт...

А может, самый бесталанный, по одной пьесе не угадаешь.

– Да мы живём в этом материальном мире, и в этом болезном теле...

Сказал и окинул взглядом фигуру Кирилова: далеко не сублильная, неопределённого пола, как у многих нынешних, и не атлетическая, но поджарая, с крепкими плечами и мускулистыми, привыкшими к физическому труду руками. Кирилов из семьи знатных шахтёров: дед – орденосец, передовик советской страны; отец – передовик нынешней, в которой ордена заменили деньги. Молодым он стучал каской по столичному булыжнику против старой власти, за что был своим отцом обвинён в продаже страны капиталистам и проклят. Если верить тексту пьесы, тот умер, так и не сняв проклятия с сына.

Сам Кирилов год работал в шахте, в первый раз не набрал проходной балл.

– Но не старайтесь писать, как Шекспир, он – представитель другого мира, другой культуры, иного менталитета, – вставил модное нынче словцо. – Тем более, что гениев, способных объять



мир, в наше время нет и долго ещё не будет.

И опять замолчал надолго, глядя на печально покачивающуюся желтизну на фоне наливающихся синевой облаков. Это покорное покачивание под слабым ветерком настраивало на медитацию.

В юности он медитировал под мысли о далёком и радостном будущем; в зрелости – размышляя над решением задач ближайших или сочиняя истории, так и не воплотившиеся в поставленные пьесы; теперь же, в такие мгновения, предпочитал ни о чём не думать, уносясь туда, где время перестаёт повелевать...

– Почему вы так уверены?

Это опять Кирилов.

– В чем?

Сделал вид, что не понял.

– Что нет и не будет гениев.

Не стал торопиться с ответом – так трудно было вернуться обратно в суетный мир.

– Лимит на гениев человечеством исчерпан.

Подумал, что слишком категорично и бездоказательно, но пускаться в долгие рассуждения не хотелось. Тем более, зная дотошность Кирилова. Он основателен во всем. Ум не быстрый, но въедливый. Но не обижать же, вон как глаза сузились.

– Учитесь у Чехова. Чехов – русская душа. Как и Гончаров. Обломов – это мужская славянская душа, а Душечка – Ольга Семёновна Племянникова – женская.

– А почему не Анна Каренина и Андрей Болконский?

Это Перегудина. Самая внимательная его слушательница.

Она всегда садится напротив и слушает так,



словно он объясняется ей в любви.

Под широкими нарисованными бровями – длинные чёрные ресницы и синие глаза. По-видимому, линзы. Фигурные губы – то кроваво-красные, то коричневые, а сегодня фиолетовые – приоткрыты. Волосы тоже она красит каждый месяц в другой цвет, сейчас рыжие... или каштановые. Вот и пойми, где своё, настоящее.

Но время такое.

Поколение такое... внуки...

Кроме своего изменчивого образа, она ещё ничего не создала, и не очень верится, что создаст. Хотя нынешнее засилье женской прозы и телесериалов неизбежно заразит и драматургию. И будут тогда на сценах страны, нет, мира, сплетничать, лицемерить, закатывать истерики и говорить о мужчинах свысока.

– Видишь ли, Лев Николаевич совершенно не разбирался в женской психологии. Что, впрочем, замечательно, иначе не было бы того Толстого-писателя, которого мы знаем. Его Анна Каренина – это офицер-холерик в юбке. Такие обязательно должны стреляться на дуэли. Ну, а в данном случае вместо пули – поезд... А Чехов хорошо понимал женскую психологию, иначе он не написал бы «Трёх сестёр». Да и «Вишнёвый сад», «Чайку»... Что же касается Болконского, то он не русский... Или русский французского воспитания. Отчего Лев Николаевич и не позволяет ему долго прожить. Он отдаёт непрожитые им годы Безухову, который хоть и иностранец по воспитанию, но с русской, правда, спящей, душой. Иное дело Обломов. Вот она русская душа в своём естественном состоянии созерцания мира, понимания его



естественного, не изуродованного человеком, очарования. Штолец – оболочка без души, искуситель, совратитель, завистник. Ибо ему не дано постичь тех тайн, что постигает Обломов. Иностранцам не дано понять нас. – И закончил почти шёпотом, стараясь не смотреть на Перегудину, не сомневаясь, что она ничего не поняла. – Как нам не дано постичь гениальность Шекспира.

И стал ждать реплики Кирилова.

Но, к своему удивлению, услышал голос Перегудиной. Приятный, надо сказать, голос. Ему такой тембр нравился. С притягательной манкостью и в то же время с нотками чувственной искренности.

– Я не согласна с вами. У Карениной не было выхода, потому что она любила Вронского даже больше своего сына. Лев Николаевич очень хорошо знал женскую психологию. А Обломов – лентяй, бесцельная личность, ни на что не способная. Даже на любовь.

– Почему же, он очень даже способен и он любит. Но он любит свою мечту, иллюзию, идеал. А узнав реальную женщину – с её капризами, эгоцентризмом, нарциссизмом, желанием диктовать, – разочаровывается, – опередил его Кирилов.

«Ого, он обижен на женщин. За что, интересно?» – подумал про себя профессор и с любопытством взглянул на Кирилова.

– Это кто из нас желает диктовать? – Перегудина окинула Кирилова взглядом, по которому можно было понять, что их связывает неведомая другим тайна.

– Женщина да убоится мужа своего, – буркнул

Кирилов, явно не желая вступать в спор прилюдно.

И Перегудина не стала раскрывать тайну, хотя уже было очевидно, что там, в тонком мире между этими двумя существует связь. Окрепнет ли она до состояния совместного существования в мире реальном или же растает, осев в памяти, где постепенно будет либо подниматься до идеализации, либо опускаться до отрицания и изгнания, об этом не знают ни они, ни он, мастер, их учитель. Хотя вполне может описать их будущее, исходя из собственных догадок или же фантазий. Но что он желает? Чтобы они были вместе?..

Подумал и ощутил укол ревности. Того, что является жадной владея, собственности, пороком, грехом, о котором так любил размышлять Шекспир. Но он не Шекспир, и он не напишет, как гений, а тогда стоит ли писать.

– Сегодня многим надо брать пример со Штольца. Штолец – настоящий мужчина, за ним как за каменной стеной, – продекларировала Перегудина.

И сама поняла, что сморозила глупость. Но исправляться не стала.

«Чего же она от тебя хочет? Ты ведь вроде парень пробивной, – мысленно спросил профессор Кирилова, наблюдая за незримым сражением мужской и женской душ. – Вероятно, завышенные требования. Тривиальный белый «мерседес» и беззаботная пустая жизнь. Выхолащивающая душу идеализация быта. Или забота о возможности воспроизводить потомство без страха за своё и будущее детей?..»

– Любовь – это постижение бессмертия. Поэтому для истинно влюблённых рай и в шалаше. Он выделил голосом «истинно».



Сам немало раз увлекался в молодости. Да и потом... Но вот так и не довелось влюбиться «до шалаша».

Или всё же было, но не распознал...

...Он тогда был в фольклорной экспедиции в местах, далёких от современной цивилизации, где непорочно было всё: и говор, и мифы, и люди, и природа. Как непорочны были они, юные студенты. Что тогда свело их вместе, он не помнил, хотя заметил её сразу – филологиню из Ленинграда: карие глаза, соломенные волосы, ямочки на щёчках, стремительная, словно летящая, походка и губы, улыбающиеся всему вокруг... Всем парням – правда, их было всего четверо – она нравилась, все хотели понравиться ей. Он был пятым и не хотел конкурировать. Она сама подошла к нему.

Они до утра проговорили у тлеющего костра, пересидев всех, и на следующий день пошли гулять по окрестностям. Говорили невесть о чём, не замечая ни времени, ни приближающейся грозы, и когда та вдруг разразилась, взявшись за руки, побежали под дождём. И было языческое соединение где-то там: в грозовой вышине, в блеске молний, раскатах грома, водопаде дождя, – их сути, их душ..., необъяснимо-непередаваемый восторг их тел... Что-то уже было между ними в прошлом, до этого бытия, и будет, несомненно, будет в будущем...

Всё это время он помнил её имя, её образ, хотя после этого их пути разошлись.

– ... вы противоречите сами себе.

Что-то ещё говорила Перегудина, но он услышал это. И согласился. Что поделаешь, противоречий хватает: на каждом плече по наставнику, и

каждый свою истину нашёптывает...

Можно, конечно, изобразить мудреца. Завести в словесные дебри, не сознаваясь в своём невежестве.

Может быть, так и поступил бы, но пара закончилась. Будущие таланты, по прежней, советской формулировке – инженеры человеческих душ – неторопливо покидали аудиторию. Только Перегудина медлила.

Наконец они остались одни, и он понял, что она задержалась неслучайно.

– Ну, говори.

Он улыбнулся, чувствуя свою власть над этой молодой женщиной, одновременно наслаждаясь и стыдясь этого возвышения.

«Всё-таки, мы очень разные, мужчины и женщины», – ещё раз утвердился в мысли, которая оформилась после распада второго брака.

– Я написала пьесу. – Она решительно шагнула к столу, положила перед ним тоненькую стопку листов. – Одноактную.

Он взял стопку в руки, развернул веером и снова свернул.

– Прочитаю.

– Про любовь... – добавила она, и он понял, что вся её вызывающая уверенность в себе – бравада. Защита.

– Я догадываюсь.

– Только вы не думайте, что я с кого-то это списала, – отчего-то сказала она, ожидая согласия.

Но он не стал соглашаться.

– Писатель всегда списывает. Человек не способен выдумывать. Он способен считывать невидимое и непонятое другими.

– Пусть так... – Покорилась она. – Я пойду?



– А чего ты спрашиваешь. Лекция закончена.

Помедлила. Явно хотела что-то сказать, но потом повернулась, заскользила в больших белых кроссовках, подчёркивающих изящество длинных ног, к выходу.

Он нацепил очки, пробежал первую страницу, не ожидая никаких открытий, но всё же на что-то надеясь...

В пьесе было два действующих лица: старик и девушка. Они просто говорили на берегу моря.

«Почему обязательно моря? – подумал он. – Ах, да, потому что горизонт одинаково далёк и для остроглазой молодости и для подслеповатой старости».

Говорили о том, что было интересно девушке. Потому что она ещё не нажила свой опыт. И совсем неинтересно старику, который уже обладал знанием будущего и умением предсказывать. Это было банально, но он продолжал читать пьесу, надеясь открыть что-то для себя, что несёт в себе новое поколение. Но диалоги были шаблонны, драматургии – то есть раскрытия многообразия характеров, столкновений душ там, в тонком мире – не было. Было описание соблазна.

Он вспомнил о соблазне...

...После пятого курса его женатый друг ушёл в армию, поручив ему опекать молодую жену, присматривать за ней. На правах друга семьи он часто приходил к ней. И однажды остался ночевать. Постель была одна, и они лежали на ней вдвоём, отгородившись свёрнутым в рулон одеялом, и пытались отогнать соблазн доступной близости разговорами о друге-муже, о знакомых, о студенческих заботах, – она училась на пятом

курсе. Но соблазн всё более сближал их и только то, что он твердил без устали, что она жена его друга, сдерживало его. Они проговорили всю зимнюю ночь до рассвета, так и не сомкнув глаз. Но и не согрешив...

Сейчас почти все молодые стараются описать, показать на сцене свой соблазн, не поднимаясь выше, не постигая высоты Шекспира.

Нет, это не будущее, это падение в далёкое прошлое...

Он перевернул последнюю страницу.

Увидел Перегудину. Без макияжа, красок, маски прилежной ученицы. Такой, какой она бывает наедине с собой.

Даст ли Бог этой молодой женщине познать, что такое любовь?

И тут же усомнился в своём праве судить.

Дал ли Он ему?..

Если дал, то только тот, один-единственный день, когда их губы учились вместе ловить капли дождя, а души познали друг друга...



ВИКТОР ШИНКОВСКИЙ

Ты помолишь

Памяти Ю. Сърмана

Ещё цветы в полях не
расцвели,
не расплескала изумруд листва,
когда сказали, что его не стало.
Безжалостна народная молва.

Он жил, как мог, размашисто,
высоко,
не ёрничал, себя великим мня.
Ещё один мой друг ушёл до
срока...
Ты помолишь украдкой за меня.

Бывали разные товарищи и
друзи.
Но мы, пройдя юга и севера,
не предавали походя друг друга,
не разменяли завтра на вчера.

Прихватит горло нестерпимой
мукой,
и крик сорвётся с онемелых губ,
в отчаянье, запечатлённом
Мунком,
на скандинавском скальном
берегу.



**Поэтическая
мозаика**



Всё прошлое мне кажется
недавним.
Пусть не меркнет свет в твоём окне,
когда меня, как и его не станет.
Ты помолись украдкой обо мне...

Истоки зла

Ложью, взятой за основу,
сплошь объята рубежи.
Не понять, поверив слову,
кто отцы, кто дети лжи.

Сам себе порой не верю.
Глянешь в небо – свет не мил,
словно кто тяжёлой дверью
больно душу прищемил.

Бесы зла обману рады:
утопили мир во лжи!
Неужели нам до правды,
как до рая, не дожить?

Всё, теперь долой сомненья!
Не оставим рубежи!
До Второго Воскресенья
нам отпущено дожить.

Знаем чуть ли не с пелёнок
что есть правда, что есть ложь.
Улыбнулся Вам ребёнок...
Есть на свете правда всё ж.



Весеннее наваждение

Я ночами пишу напролёт,
до утра соловьям не до сна...
И, пока моё солнце встаёт,
над округой бушует весна.

Не понять: то ли день, то ли ночь,
между ними весна без границ.
Морок мая влечёт меня прочь
от обрывков дымящих страниц.

Я гоню свои беды взащей,
завтра будет удачливый день...
За окошком моим и в душе
полыхает шальная сирень.

Купола

Может стать, игрушки разменяем,
чтоб отныне каждому - свои.
Станет прозаичен и вмняем
мир, что был придуман для двоих.

Ты порвёшь в душе струну тугую,
станешь слушать, как поёт она...
Дорогой я назову другую,
перепулав сны и имена.

Можно всё отдать за эти звуки,
за лады, в которых боль и грусть.
Пусть струну ласкают твои руки,
и гитара нам рыдает пусть.



Пусть поёт, струны не обрывая,
в вышине звонят колокола...
Что за поворотом, я не знаю.
Знают золотые купола.

Птицы

Рву рябину. И птицам останется
кровь Христова на новом снегу...
Но по-птичььи они не обманутся,
да и я их спугнуть не смогу.

Есть евангельский птичий обычай
в лике Духа Святаго слетать.
Может, Божий он всё же, не птичий,
отчего на душе благодать.

Рву рябину. Но птицам достанется.
Жду, когда приведут на допрос.
И душа, бесприютная странница,
Затерялась в лампадах берёз.



СЕРГЕЙ ЛОБАНОВ

Прыжок

На сердце синь густого неба...
Парю , цепляя облака...
Сияет рядом купол Глеба,
Внизу, как ленточка, – река.

Платки полей надёжно сшиты
Густою лесополосой.
В лучах зари блестят ракиты,
Покрывшись бисерной росой.
...Я приземлюсь у дороги,
Влетая с треском в камыши,
И Глеб кричит: «Ну, как там ноги?»
А я в ответ: «Не отсушил».

...Два парашюта, автоматы,
Ан-2¹ летает, мы сидим...
Чабрец душистый вместе с мятой
Пьянят.

Горчит табачный дым...

– Ну, что, Серёга, страшно было?
– Да нет, дружище, так, чуть-чуть...
На запад катится светило –
Дугообразен Солнца путь.

¹ Ан-2 – («Кукурузник») – многоцелевой советский самолёт.

...На сердце синь густого неба,
Меж пальцев тают облака...
Идём вдоль поля вместе с Глебом.
Куруется маревом река.

Архызские сосны

Я не знаю, сколько лет
Этим древним соснам,
Много ль пережили бед
Страшных, смертоносных.

Много ль видели добра
Или слишком мало,
Сколько раз от топора
Их судьба спасала.
Сколько тайн они хранят
В памяти дремучей,
Что друг другу говорят
На своём, скрипучем?

Знаю только, что они,
Как и мы, – живые.
Видят красочные сны –
Полувековые.
А когда ночная мгла
Нежит их в объятьях,
Слышу стук сердец в стволах,
Шелест хвойных платьев...



Парад

А мы готовимся к Параду
И с каждым днём всё твёрже шаг.
Равненье держим мы как надо.
Звенят медали на ПШ ¹.

А мы готовимся к Параду!
Надёжно братское плечо.
Для нас усталость – не преграда
И нам ненастья – нипочём.

Совсем нелёгкая работа –
Себя огранке подвергать.
Со лба стирая капли пота,
Мы будем вновь шагать, шагать.

И мы не вправе оступиться,
Мы завтра – главный строй страны.
Пройдём по площади столицы
В Победоносный День весны!

¹ ПШ – полушерстяная ткань, из которой в советское время шили военную форму.

СВЕТЛАНА БИРЮКОВА

Что за чудо, скажите на милость,
В этот мир так неожиданно явилось?!
Бело-розовые облака
Рядом - рядом, достанет рука.
Может, это совсем неспроста
К нам явилась из детства мечта...
Вот он, нежности розовый дым, –
На руках... Мы окутаны им.
Что же это, скажите вы мне,
Родилось под окном по весне?
И ответил скворец на вопрос:
«Это просто расцвел абрикос!»

Такая тишина лишь в ноябре
стоит, как отгуляют листопады,
А в предметельной чувственной поре,
когда теплу особенно мы рады,
в томлении таинственном душа
взирает, как величественны дали,
прозрачен воздух. Вяло, не спеша,
последние мазки эмалью
на полотно наносит осень.

**Чтоб согреться ими в холода**

Ловлю последнее письмо, что бросил клён,
Их целый ворох ветер мне доставил,
А у реки ещё зелёный склон,
Картину осени он красками разбавил.
А остальное солнце золотит:
И тополя, и ясени, и травы,
И даже серость тротуарных плит.
На блеск и яркость не найти управы,
Глаза слепит, но не ворчу с утра,
Ловлю прекрасные осенние мгновенья
Чтоб согреться ими в холода.
Чтоб в них искать от сумрака спасенье.

Я других не сужу

Я других не сужу.
О себе-то не всё понимаю.
Не спешу и межу
Проводить между двух берегов.
И в душе не ношу
Камень.
Очень и очень стараюсь
Там не сеять обид
И не возвращать мести ростков.
Мой учитель сказал:
Что посею, то будет и сжато,
Не училась на пять,
Но усвоила этот урок.
За лихие года
Мне сегодня приходит расплата.
Но смогла я понять -



Запасти не получится впрок
Нашу праведность,
Что у черты нам полегче даётся,
А у юных у нас
Не бывало, порой, тормозов.
Ценим больше мы всё:
Ночи звёздные, яркое солнце,
Лишь в полшаге до старта
Полёта до новых миров...

Живая нить

Пряду. Не оборвалась нить.
Кручу веретено.
Из нити - лоскут, после сшить
Большое полотно.
Так час за часом, день за днём
Мы жизни нить прядём.
Пусть крутится веретено,
И ткется полотно.
И даже если очень слаб,
И нету сил ходить.
Не прерывай, не упускай,
Пряди живую нить.



**«Я – северный
ваш друг...»
Сергей Есенин
на Кавказе**

В судьбе Есенина с Кавказом связано не меньше, чем у Пушкина и Лермонтова. «Загадочный туман» кавказских странствий манил и его. Он полюбил Баку и был очарован Грузией. Мечтал увидеть купола Константинополя и подышать воздухом Шираза. Певца бескрайних заснеженных просторов России пленяла «голубая родина Фирдуси», и он, подобно лермонтовскому Печорину, стремился совершить путешествие в Персию.

**«Хочется куда-нибудь
уехать...»**

Есенинская география, то есть его «проникновенье по планете», охватывает весьма значительные пространства, которые он к тому же всегда пытался расширить поэтическим воображением. В автобиографическом очерке 1923 года Есенин замечает: «За годы войны и революции судьба



**НИКОЛАЙ
МАРКЕЛОВ**

Краеведение



меня толкала из стороны в сторону. Россию я исколесил вдоль и поперёк, от Северного Ледовитого океана до Черного и Каспийского морей, от Запада до Востока – Китая, Персии и Индии».

В стихах Есенина упоминаются Монголия и Индия, и сказочная провинция Ирана – Хорасан, и «золотые пески Афганистана», города Шираз, Константинополь и Багдад, но это, конечно, не значит, что он там бывал. Во всякой случае, можно понять, что тема эта была для него важной, если в письмах и заметках о себе он постоянно подчеркивал и уточнял места своего пребывания. В «Автобиографии» 1923 года он сообщает, что в 1919–1921 годах «ездил по России: Мурман, Соловки, Архангельск, Туркестан, Киргизские степи, Кавказ, Персия, Украина и Крым. В 22-м году вылетел на аэроплане в Кенигсберг. объездил всю Европу и Северную Америку».

В «Автобиографии» 1924 года – новые уточнения. Есенин пишет, что с 1918 года «началась моя скитальческая жизнь, как и всех россиян за период 1918–21 годов. За эти годы я был в Туркестане, Кавказе, в Персии, в Крыму, в Бесарабии, в Оренбургских степях, на Мурманском побережье, в Архангельске и Соловках. 1921 г. я женился на А. Дункан и уехал в Америку, предварительно исколесив всю Европу, кроме Испании».

Судя по всему, Кавказ и долгожданная Персия, как и вообще «золотая дремотная Азия», были ему несравненно ближе, чем цивилизованный Запад. Обращаясь к поэтам Грузии, он говорил о себе:



*Я – северный ваш друг
И брат!
Поэты – все единой крови.
И сам я тоже азиат
В поступках, в помыслах
И слове.*

«Хочется куда-нибудь уехать, да и уехать некуда», – восклицал поэт в одном из своих писем. Он мечтал поехать в Персию, но мечта не сбылась. Хотел увидеть Константинополь, однако не попал и туда. Но горечь, которая чувствуется в его словах, вызвана, может быть, совсем не этим. Скорее всего, он имел в виду вовсе не страну или город, а вообще свою жизнь, ибо уехать от самого себя, действительно, некуда.

«И больше всех лишь ты, Кавказ...»

Стихи Есенина появились в газетах Ростова и Екатеринодара ещё до революции. Когда же он сам впервые побывал на Кавказе – неизвестно. Вероятно, это произошло в 1918 или 1919 году, когда судьба его «толкала из стороны в сторону». Во всяком случае, в письме к Евгении Лившиц в августе 1920 года, написанном с дороги из Кисловодска в Баку, поэт сообщает: «Я здесь второй раз в этих местах...»

О поездке на Юг в 1920 году он долго вспоминал как о «чудеснейшем путешествии». В первых числах июля Есенин и Анатолий Мариенгоф вместе со своим приятелем Григорием Колобовым, получившим командировку и отдельный вагон на Северный Кавказ, выехали из Москвы. На литературных вечерах в Ростове и Таганроге

читали стихи. Побывал Есенин и в Новочеркасске, но там выступление не состоялось из-за разгромной статьи в местной газете.

Из Ростова подались дальше, и после Тихорецкой произошёл известный эпизод с жеребёнком. Вот как это событие сохранилось в памяти Мариенгофа:

«Мы высунулись из окна.

По степи, вперегонки с нашим поездом, лупил обалдевший от страха перед паровозом рыжий тоненький жеребёнок.

Зрелище было трогательное. Надрываясь от крика, размахивая штанами и крутя кудлатой своей золотой головой, Есенин подбадривал и погонял скакуна. Версты две железный и живой конь бежали вровень. Потом четвероногий стал отставать, и мы потеряли его из вида.

Есенин ходил сам не свой».

В Пятигорске друзья заглянули в «Домик Лермонтова». Уходя, Есенин черкнул в книге записей посетителей: «Сергей Есенин и Мариенгоф». Возможно, что именно пятигорские впечатления отразились потом в его стихотворении «На Кавказе»:

*И Лермонтов, тоску леча,
Нам рассказал про Азамата,
Как он за лошадь Казбича
Давал сестру вместо злата.
За грусть и желчь в своём лице
Кипенья жёлтых рек достоин,
Он, как поэт и офицер,
Был пулей друга успокоен...*



Есенин ещё не раз вспоминал Лермонтова в своих стихах. В разговоре мог без усилия привести на память его любое четверостишие, а поэму «Мцыри» знал наизусть целиком. Позже, уже находясь в Грузии, он поднялся к описанному Лермонтовым монастырю «Джварис сагдари», более известному теперь под названием «Мцыри».

Вскоре друзья продолжили путешествие на юг. Окрестная природа оставила поэта равнодушным. «Сегодня утром мы из Кисловодска выехали в Баку, – писал он с дороги, – и, глядя из окна вагона на эти кавказские пейзажи, внутри сделалось как-то тесно и неловко. Я здесь второй раз в этих местах и абсолютно не понимаю, чем поразили они тех, которые создали в нас образы Терека, Казбека, Дарьяла и всё прочее. Признаться, в Рязанской губ. я Кавказом был больше богат, чем здесь...»

Через Дербент и Баку Есенин впервые попал в Тифлис, где провёл несколько дней. О встрече с ним в эту пору рассказал в своих записках А.И. Гербстман: «Я сначала не поверил, что встретился с Есениным: он выглядел совсем по-мальчишески, был навеселе, его разговор не совпадал с моими представлениями о знаменитом поэте... Во втором часу ночи поэта начали уговаривать прочесть стихи. Он, как мне показалось, несколько кокетливо отказывался вначале, потом согласился. Читал Есенин изумительно: очень эмоционально, всем телом жестикулируя, особенно руками и головой. Мои сомнения полностью рассеялись. Я был потрясён...»

На обратном пути друзья вновь заехали в Пятигорск. Мариенгоф слёг в тропической лихорадке, Есенин один отправился в Москву с красно-



армейским эшелоном.

В 1924 году поэт исколесил Кавказ от Каспийского моря до Чёрного. С Москвой распрощался надолго: «Уезжаю года на два», – уверял он в одном из писем. В первых числах сентября прибыл в Баку, откуда вскоре выехал в Тифлис. «...Увидел я его впервые красивым, двадцатидевятилетним, – вспоминал об этом времени грузинский поэт Георгий Леонидзе, – с уже выцветшими несколько кудрями и обветренным лицом, но задорно-синеглазым и по-детски улыбчивым, хотя и не без складки усталости на этой доброй и доверчивой улыбке. О нём сразу созддалось впечатление, вскоре навсегда закрепившееся, как о кристально чистом человеке подлинно рыцарской природы, тонкой и нежной души. Душевный контакт с ним установился мгновенно...»

Есенин дважды возвращался в Баку и, наконец, в декабре из Тифлиса отправился в Батум, где встретил новый 1925 год. Предполагал пробыть на Кавказе «до мая», «до весны». В феврале, проделав обратный маршрут, через Тифлис и Баку к 1 марта возвратился в Москву, бесперерывно проведя на Кавказе почти полгода.

Он обещал тифлисским друзьям вскоре вернуться. Хотел даже построить себе дом на берегу Куры. Хотел провести в Тифлисе следующую зиму и поохотиться в горах на кабанов и медведей.

«Грузия меня очаровала. Как только выпью накопившийся для меня воздух в Москве и Питере, тут же качу обратно к Вам, увидеть и обнять Вас», – пишет он Тициану Табидзе. И действительно, в конце марта вновь пускается в путь, но не в Тифлис, а в Баку. Ему словно не сидится на месте:



вернувшись в Москву в конце мая, 25 июля с Софьей Толстой он вновь отправляется в Баку – в последний раз. В начале сентября 1925-го Есенин покинул Кавказ. Теперь – навсегда.

В письмах поэта упомянуты и другие пункты его предполагавшихся, но несостоявшихся кавказских маршрутов: Сухум, Эривань, Трапезунд и Абас-Туман (точнее – Абастумани, знаменитый горный курорт в Грузии).

Газета «Комсомольская правда» приводит интересные, но, кажется, лишённые оснований сведения о пребывании поэта в Новороссийске. Там якобы Есенин и скульптор Эрзя просили милостыню на улице, а автор «Анны Снегиной» собирался утопиться в Чёрном море. Степан Дмитриевич Нефёдов, известный миру под псевдонимом Эрзя, в начале 1920-х годов, действительно, жил в Батуми и Баку, а в Новороссийске, случалось, подрабатывал грузчиком в порту, но зато Есенин никогда в этом городе не был. Упомянутый же эпизод произошёл, как выясняется, не в Новороссийске, а в Баку, где поэт и скульптор встретились осенью 1924 года. «О дружбе Эрзя и Есенина известно немного», – замечает биограф поэта. Какие-то подробности стали известны со слов писателя Бориса Полевого, встречавшегося с Нефёдовым в 1950-х годах и передавшего его рассказ об этом удивительном случае: «В один прекрасный день друзья пошли в «Бакинский рабочий». Есенину причитался за стихи какой-то гонорар. Пришли к Чагину: так, мол, и так, распорядись... А тот упирается: нет, дескать, денег в кассе. «Ах, нет? Ну, ладно!» Друзья выходят на улицу, встают под окнами редакции. Есенин поёт частуш-



ки, а Эрзя с есенинской шляпой в руках, обходит собравшихся зевак, изображая сбор подаяния. Чагину ничего не оставалось делать, как позвать Есенина и выдать ему гонорар...»

Воспоминания бакинского приятеля поэта – Василия Болдовкина воскрешают ещё один лермонтовский эпизод, случившийся с Есениным в Тифлисе: «Сергей говорил о своей поездке в Тифлис и Батум, говорил о грузинских поэтах, особенно тепло он отзывался о Паоло Яшвили. Рассказывал о тифлисских похождениях, о ресторане «Аветика», где он в кругу грузинских писателей читал выдержки из «Демона» Лермонтова, и когда он в шутку произнёс слова: «Бежали робкие грузины», то грузинские товарищи на него немного обиделись.

– Не хотел я этой обиды, я только хотел пошутить, – говорил Сергей с мальчишеским задором».

Что касается творческих итогов Анатолия Мариенгофа, то он издал в 1951 году пьесу «Рождение поэта», посвящённую кавказской ссылке М.Ю. Лермонтова. Сказалось ли в этом давнее посещение лермонтовского музея в Пятигорске, судить теперь трудно, но, во всяком случае, он не преминул передать туда экземпляр своей книги со следующей надписью: «Музею «Домик Лермонтова». Степлом. Автор. 27 апр. 52».

Преклонение Есенина перед Лермонтовым невольно передалось и Айседоре Дункан. Вот что вспоминал об этом Илья Шнейдер, устроитель гастролей знаменитой танцовщицы в Советской России: «В Пятигорске Айседора спросила меня, будет ли концерт ее там, где убит русский поэт Лермонтов? Очевидно, Есенин говорил с ней о



Лермонтове. Дункан плохо знала русскую поэзию. Концерт в Пятигорске, разумеется, стоял в плане ее гастролей в Минеральных Водах. Она выступала повсюду, используя музыку 6-й симфонии, но в Пятигорске изменила программу, сказав, что будет танцевать там «Неоконченную симфонию» Шуберта. Причину своего желания она так и не объяснила, но в день концерта в Пятигорске была очень грустна, жалела, что не успеет съездить на место дуэли, расспрашивала меня о Лермонтове, много говорила о Есенине. Танцевала она «Неоконченную симфонию», которую я тогда впервые увидел, с большим настроением и необычайно лирично...»

Менее известно, что в Пятигорске жил друг Есенина – Алексей Иванович Славянский. Некоторые сведения о нем удалось разыскать в книге «Серебряный переулочек» писателя Ивана Рахилло. Речь идет о встрече друзей однажды московским летним днём:

«Из Пятигорска приехал близкий друг и поклонник Есенина драматург Алексей Славянский. Вдвоём с Есениным они привлекают внимание всех встречных. Синяя черкеска с широкими завёрнутыми рукавами, кавказский пояс, кинжал и шашка в богатом серебре, на спине – голубой башлык, лихо заломленная папаха, под густыми сросшимися бровями жёлтые глаза уссурийского тигра – таков по внешности Славянский. И рядом с ним, в модном костюме, – Есенин, только что вернувшийся из-за границы.

Бывший чабан, выросший без родителей, Алёша Славянский был всего-навсего начальником клуба одной из кавалерийских дивизий, расквартированных на Тереке.

Его пьесы «Красный орлёнок», «Пять ночей» и «Сосны шумят» шли во многих театрах страны. И в каждый свой приезд в Москву, получив в охране авторских прав накопившийся гонорар, Славянский обязательно собирал друзей и устраивал шумный праздник.

Есенина Славянский боготворил. И поэт отвечал ему самыми чистыми дружескими чувствами.

Мы направились в кавказский духанчик, где у Славянского был знакомый повар-грузин...»

«Корабли плывут в Константинополь...»

Заветной, но неосуществленной мечтой Есенина был древний Царьград – Константинополь. Город был предполагаемой, но не достигнутой целью «чудеснейшего путешествия» 1920 года. «Есенину хотелось, – как говорил Мариенгоф, – побывать в Батуме, чтобы на фелюге добраться до Турции: он мечтал взглянуть на Константинополь».

С тем же дальним замыслом приехал Есенин в Тифлис и осенью 1924 года, откуда вскоре писал Анне Берзинь: «Я Вас настоятельно просил приехать. Было бы очень хорошо, и на неделю могли бы поехать в Константинополь или Тегеран. Погода там изумительная и такие замечательные шали, каких Вы никогда в Москве не увидите». Позже, уже живя в Батуми зимой 1924–1925 годов, поэт с берега устремлял свой взгляд в бескрайний простор – в сторону Босфора:

*Корабли плывут
В Константинополь.
Поезда уходят на Москву.
От людского шума ль,*



*Иль от скопаль
Каждый день я чувствую тоску.
Каждый день
Я прихожу на пристань,
Провожая всех,
Кого не жаль,
И гляжу все тягостней
И пристальней
В очарованную даль...*

Кнут Гамсун, посетивший этот тропический городок до Есенина, находил, что «в жизни в Батуме есть нечто южноамериканское». Есенин рвал мандарины с дерева, со Львом Повицким пил грузинское вино и от тоски играл на бильярде.

«Днём, когда солнышко, я оживаю, – пишет он из Батуми Галине Бениславской. – Хожу смотреть, как плавают медузы. Провожая отъезжающие в Константинополь пароходы и думаю о Босфоре».

О серьёзности намерений Есенина побывать на турецком берегу говорят воспоминания журналиста и писателя Николая Вержбицкого:

«В начале декабря 1924 года мы с Есениным отправились в Батум. До этого поэт настойчиво просил меня достать документы на право поездки в Константинополь. Кто-то ему сказал, что такое разрешение, заменяющее заграничный паспорт, уже выдавалось некоторым журналистам. А свое намерение съездить в Турцию Есенин объяснял сильным желанием повидать «настоящий Восток» (по-видимому, это было новым вариантом его старого замысла посетить одну из стран Ближнего Востока, подогретого чтением персидских лириков и уже осуществляемым циклом «Персидские мотивы»). Один из членов Закавказского

правительства, большой поклонник Есенина, дал письмо к начальнику Батумского порта с просьбой посадить нас на какой-нибудь торговый советский пароход в качестве матросов с маршрутом: Батум – Константинополь – Батум».

Матроса из Есенина почему-то не получилось. Известен ещё случай, когда он и его приятель художник Костя Соколов могли уйти в чужие воды контрабандой: «...Они в Батуми с Есениным спяна очутились в трюме итальянского парохода, и их хотели отвезти в Геную, а они, дураки, отказались. Забирали их как кокаинистов»¹⁶.

Константинополь прогорел так же, как потом и Персия, и Есенин вынужден был с грустью констатировать в стихах: «Никогда я не был на Босфоре...» Позже он писал Вержбицкому: «В Константинополь я думал так съездить, просто ради балагурства. Не выйдет – жалеть не буду...»

Между прочим, намерение уйти за границу, и именно через Константинополь, высказывал в свой одесский период и Пушкин. Задетый отказом властей предоставить ему отпуск, он пишет в начале января 1824 года брату Льву: «Ты знаешь, что я дважды просил Ивана Ивановича (то есть Александра I – Н. М.) о своем отпуске чрез его министров – и два раза воспоследовал всемилоостивейший отказ. Осталось одно – писать прямо на его имя – такому-то, в Зимнем дворце, что напротив Петропавловской крепости, не то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть Константинополь. Святая Русь мне становится невтерпёж».



«Проклятая Персия»

Есенин читал персидских классиков в переводах. В цикле стихотворений «Персидские мотивы» он упомянул Саади, Хайяма и Фирдоуси. Красота, пронзительная лиричность, парадоксальный смысл восточной поэзии пленили его. Рассказывают, что Есенин «хотел посмотреть сады Шираза и подышать воздухом, каким дышал Саади».

Трудно, пожалуй, назвать другое столь же неизменное, почти навязчивое желание, владевшее поэтом в последние годы, нежели его стремление попасть в Персию. Он так часто, так упрямо твердил об этом, что, например, Георгий Иванов уверовал в реальность этой поездки и обмолвился в предисловии к парижскому изданию стихотворений Есенина: «Было путешествие в Персию...» Ему вторит в своих мемуарах и хорошо знавший поэта Илья Шнейдер: «Я где-то читал о том, что Есенин, вероятно, побывал в Персии, и притом не один раз, а дважды...»

В апреле-июне 1921 года состоялась поездка Есенина в Среднюю Азию (или, как тогда говорили, Туркестан). Поэт выехал из Москвы с Григорием Колобовым, имевшим шутовское прозвище Почём-Соль. Колобов занимал важный пост в НКПС – инспектора Всероссийской эвакуационной комиссии; в его служебном вагоне Есенин совершил путешествие и жил во время пребывания в Ташкенте.

По воспоминаниям В. Вольпина, «приехал Есенин в Ташкент в начале мая, когда весна уже начала переходить в лето. Приехал радостный, взволнованный, жадно на все глядел, как бы впивая в себя и пышную туркестанскую природу,



необычайно синее небо, утренний вопль ишака, крик верблюда и весь тот необычный для европейца вид туземного города с его узкими улочками и безглазыми домами, с пёстрой толпой и пряными запахами».

Дальнейший путь Есенина пролёг в Самарканд, Бухару и Полторацк (Ашхабад). В дороге он работал над главами драматической поэмы «Пугачёв». Охватывая взглядом бескрайние прикаспийские степи, поэт стремился проникнуть мысленным взором ещё дальше, на юг, к пределам Персии, где в самых недрах Азии намеревался укрыться потерпевший поражение Пугачев:

*Да, я знаю, я знаю, мы в страшной беде,
Но затем-то и злей над туманною вязью
Деревянными крыльями по каспийской воде
Наши лодки заплещут, как лебеди, в Азию.
О Азия, Азия! Голубая страна...*

Об этом же, кстати, в «Истории Пугачёва» пишет и Пушкин: «Окруженный отовсюду войсками правительства, не доверяя своим сообщникам, он уже думал о своём спасении; цель его была: пробраться за Кубань или в Персию».

Путешествием своим Есенин остался доволен и даже радовался, «что плюнул на эту проклятую Москву», но в Персию, как и Пугачёв, на этот раз не попал.

Зимой 1922 года последовала новая поездка. Считая связь Есенина с Дункан трагической ошибкой поэта, Мариенгоф пытался оторвать его от Айседоры. «Стали обдумывать, как вытащить из Москвы Есенина, – пишет он в «Романе без вранья». – Соблазняли и соблазнили Персией». Но



в этот раз Есенин добрался только до Ростова. Сначала он намеревался ехать дальше, в Тифлис, но, поссорившись с Колобовым, вернулся в Москву. «Проклятая Персия», – заключил он в письме к Мариенгофу, подводя итог неудавшегося путешествия. Об этом коротком пребывании Есенина в Ростове в феврале 1922 года сообщают воспоминания Нины Александровой, в то время – начинающей поэтессы: «Есенину не понравилась ростовская погода: подтаявший снег, туманный день. Он с гордостью рассказывал, как работал над драматической поэмой «Пугачёв», как много материалов и книг прочёл он тогда. Показал на ладонях рубцы:

– Когда читаю «Пугачёва», так сжимаю кулаки, что изранил ладони до крови...»

В период длительных кавказских странствий 1924–1925 годов Есенин снова и снова искал возможность совершить паломничество в свою поэтическую Мекку. На этот раз его поманил Персией Пётр Чагин. Редактор газеты «Бакинский рабочий», он познакомился с поэтом в Москве в феврале 1924 года. «Завязалась большая дружба, – вспоминает Чагин. – Он со своей стороны скрепил её обещанием приехать в Баку. А я на его вопрос: «А Персию покажете?» – обещал и Персию показать, а если захочет, то и Индию».

В письме к Галине Бениславской от 17 октября 1924 года Есенин, едва набросав слова приветствия, тут же переходит к самому важному: «Сижу в Тифлисе. Дожидаюсь денег из Баку и еду в Тегеран. Первая попытка проехать через Тавриз не удалась». В этом же письме он упоминает Персию и то, что с ней связано, ещё трижды: «Пишу мало. Думаю засесть писать в Тегеране». Говорит о



намерении заехать в Батум «после Персии» и обещает «из Персии» написать подробней. И в следующем письме к ней, из Тифлиса от 22 октября 1924 года, – о том же: «Несколько времени поживу в Тегеране...»

Несколько времени ему пришлось пожить всё же не в Тегеране, а в Батуми, но и там мысль о главной цели путешествия не покидала его. Намечавшуюся поездку в Ереван Есенин связывает с дальнейшим возможным продвижением на юг: «Я должен быть в Сухуме и Эривани. Чёрт знает, может быть, я проберусь к Петру в Тегеран» (письмо П.И. Чагину от 14 декабря 1924 года).

Он уехал в Россию, домой, но, кажется, только затем, чтобы поскорее вернуться назад. «Я уезжаю на Кавказ, возможно, надолго», – вновь засобирался он, не пробыв в Москве и месяца. Вновь ему обманчиво забрезжил свет персидских путеводных звезд. «Наконец последний вечер. Завтра он уезжает в Персию, – пишет в письме С.А. Толстая. – Моя дорогая, ведь я же нормальная женщина – не могу же я не проститься с человеком, который уезжает в Персию?»

На этот раз, в апреле 1925 года, возникла авантюрная идея лететь в Тегеран самолётом. В.И. Качалов видел Есенина в Баку в ночь перед предполагавшимся вылетом. За поэтом следовал «мальчик-тюрк, совсем чёрный, крошечный, на вид лет восьми, с громадной корзиной какого-то провианта, нужного Есенину, как потом оказалось, для путешествия в Персию. В эту ночь под утро он с компанией должен был улететь в Тегеран».

В письме к Бениславской Есенин просит прислать денег для предстоящего перелёта: «Главное



в том, что я должен лететь в Тегеран. Аппараты хорошие. За паспорт нужно платить, за аэроплан тоже... Поймите и Вы, что я еду учиться. Я хочу проехать даже в Шираз и, думаю, проеду обязательно. Там ведь родились лучшие персидские лирики. И недаром мусульмане говорят: если он не поёт, значит, он не из Шуши, если он не пишет, значит, он не из Шираза».

Последнее утверждение отлилось потом и в стихотворные строки:

*У всего своя походка есть:
Что приятно уху, что – для глаза.
Если перс слагает плохо песнь,
Значит, он вовек не из Шираза.*

По воспоминаниям В.А.Мануйлова (впоследствии известного лермонтоведа), во время посещения Кубинки – шумного азиатского базара в Баку – они с Есениным «зашли к одному старику, известному любителю и знатоку старинных персидских миниатюр и рукописных книг. Он любезно принял русского поэта, угощал нас крепким чаем, заваренным каким-то особым способом, и по просьбе Есенина читал нам на языке фарси стихи Фирдоуси и Саади. Уже под вечер мимо лавки прошёл, звеня бубенцами, караван из Шемахи или Кубы, заметно похолодало и наступило время закрывать лавку, а мы всё сидели и рассматривали удивительные миниатюры, украшавшие старинную рукопись “Шахнаме”»

Есть и другие свидетельства, подтверждающие непреходящий интерес Есенина к Персии и её великим поэтам. Тифлисский друг поэта Николай Вержицкий познакомил его с тонким знато-



ком Востока Вениамином Поповым. «Попов не стремился к знакомству с Есениным, – пишет Вержбицкий. – Но когда я сообщил ему, что поэт с наслаждением читает и перечитывает Саади, Хайяма и Руми, он зашёл к нам, и мы провели интересный вечер. Вениамин без конца рассказывал о Востоке, о Персии...»

В своём стремлении совершить «последний бросок на юг» – в Персию Есенин был удивительно настойчив. Автор «Анны Снегиной» написал большой стихотворный цикл «Персидские мотивы», хотя сам в Персии так никогда и не побывал, а только страстно мечтал туда попасть. Всякий раз его упорные попытки венчались неудачей, и он вынужден был с горечью признавать, что «Персия прогорела». Почему?

Золотая клетка

«Голубая да весёлая страна», куда поэт так стремился душой, навсегда осталась для него недостижимой. О причинах этого поведал в своих записках человек, которому Есенин в знак дружбы посвятил «Персидские мотивы» и который так тщательно опекал поэта во время его пребывания в Баку. Звали этого человека Пётр Иванович Чагин (настоящая фамилия Болдовкин), занимался он партийной и литературной работой и в то время (при Кирове) был секретарём ЦК КП Азербайджана.

Вспоминают, что «первый акт официального гостеприимства, оказанный Есенину в Баку, был одновременно трогательным и забавным. В случае обнаружения поэта вне дома, в болезненном состоянии, лицам, коим сим ведать надлежит,



предписывалось бережно доставлять его в общежитие, где он жил тогда у Чагина».

Об этом же говорит и В.И. Качалов, приехавший в Закавказье на гастроли: «Играем в Баку спектакль. Есенин уже не в больнице, уже на свободе. И весь город – сплошная легенда об Есенине. Ему здесь «всё позволено», ему всё прощают. Вся редакция «Бакинского рабочего», Чагин, Яковлев, типографские рабочие, милиция – все охраняют его».

Роковую роль в том, что Есенин оказался вдруг «невъездным», сыграл, однако не Чагин, а первый секретарь ЦК республики – Киров, не разрешивший Чагину выполнить данное поэту обещание и показать ему Персию и Индию. Сам Киров познакомился с Есениным в редакции газеты «Бакинский рабочий», когда тот читал там свои стихи. Позднее они встречались и в апреле 1925 года, когда в Баку торжественно принимали М.В. Фрунзе. Есенин «выведывал» (выражение Чагина) подробности боевой деятельности Кирова в период гражданской войны.

«Киров, – пишет Чагин, – человек большого эстетического вкуса, в дореволюционном прошлом блестящий литератор и незаурядный литературный критик, обратился ко мне после есенинского чтения с укоризной:

– Почему ты до сих пор не создал Есенину иллюзию Персии в Баку? Смотри, как написал, как будто был в Персии. В Персию мы не пустили его, учитывая опасности, какие его могут подстеречь, и, боясь за его жизнь. Но ведь тебе же поручили создать ему иллюзию Персии в Баку. Так создай! Чего не хватает – довообразит. Он же поэт, да



какой!»

Иллюзию Персии для Есенина Чагин создал, как умел: поселил поэта на одной из бывших ханских дач в Мардакянах, с роскошным садом, фонтанами и всякими восточными затеями. Летом Есенин жил здесь с женой Софьей Андреевной Толстой. «Мардакяны – это оазис среди степи, – писала она отсюда матери 13 августа 1925 года. – Какие-то персидские вельможи когда-то искусственно его устроили. Теперь это маленькое местечко, вокзал узкоколейки, лавочки, бульвар, все грошовой и крошечные, старинная, прекрасная мечеть и всюду изумительная персидская архитектура. Песок, постройки из серого и жёлтого камня. Всё в палевых, акварельных тонах, – тоне Коктебеля. Узкие, как лабиринты, кривые улицы, решётки в домах, арки. Мы часами бродим, так, куда глаза глядят...»

Недавно стали известны и воспоминания младшего брата Чагина – Василия Болдовкина, служившего дипкурьером и комендантом советского посольства в Тегеране. Знакомство его с поэтом состоялось в Баку в сентябре 1924 года, продолжилось в Москве, вместе они побывали даже на родине Есенина в селе Константинове, на свадьбе его двоюродного брата. Что касается персидских устремлений Есенина, то, по словам Болдовкина, выходит, что «в выезде в Иран поэту было категорически отказано. По официальной версии, из соображений безопасности... Киров, в то время первый секретарь ЦК КП Азербайджана, очень тепло относился к поэту и не пустил его в Персию из добрых побуждений: у Есенина был трудный период, и Сергей Миронович опасался,



что, вырвавшись из-под опеки, тот может натворить бед. Так или иначе, было решено задержать Есенина в Баку любой ценой...»

Для Есенина эта цена оказалась, может быть, слишком высокой: воспоминания современников рисуют его в этот «трудный период» болезненно надломленным. Вот каким увидел его в Баку Александр Воронский – редактор «Красной нови», крупный литератор, ему Есенин посвятил «Анну Снегину». В его воспоминаниях создан глубокий, психологически тонкий и точный портрет поэта. Отрывок, всего в несколько строк, впечатляюще передаёт совсем не идиллическую картину пребывания поэта в золотой клетке:

«Есенин стоял, рассеянно улыбался и мял в руках шляпу. Пальтишко распахнулось и неуклюже свисало, веки были воспалены. Он простудился, кашлял, говорил надсадным шепотом и запахивал то и дело шею чёрным шарфом. Вся фигура его казалась обречённой и совсем ненужной здесь. Впервые я остро почувствовал, что жить ему недолго и что он догорает.

На загородной даче, опившийся, он сначала долго скандалил и ругался. Его удалили в отдельную комнату. Я вошёл и увидел: он сидел на кровати и рыдал. Всё лицо его было залито слезами. Он комкал мокрый платок.

– У меня ничего не осталось. Мне страшно. Нет ни друзей, ни близких. Я никого и ничего не люблю. Остались одни лишь стихи. Я всё отдал им, понимаешь, всё. Вон церковь, село, даль, поля, лес. И это отступилось от меня.

Он плакал больше часа».

Персия – прогорела.



По-видимому, и сам Есенин был отчасти в этом виноват. Василий Болдовкин, фиксируя его постоянный интерес к намечавшейся поездке («Я почувствовал, что Персия не даёт ему покоя, тянет к себе»), отмечает в то же время в поведении Есенина и некоторую непоследовательность, не позволившую поэту довести задуманное дело до конца: «Оформление поездки в Персию затягивалось, да и сам Сергей выражал стремление к поездке только вечерами и ночами, а когда днем нужно было оформлять документы, то он откладывал это изо дня в день. Так и протекали день за днем. Я получил телеграмму о срочном выезде в Тегеран. Сергей же свою поездку не оформил, и мы расстались. На пристани он меня заверял, что обязательно через несколько дней выедет в Персию...»

Чагина Киров забрал с собой в Ленинград, где собирался «продолжить шефство над Сергеем Есениным, а по сути дела, – заключает свои воспоминания Чагин, – продолжить животворное влияние партии на поэта и на его творчество».

Осуществить это намерение, впрочем, было бы весьма затруднительно. Есенин говорил о себе: «Намордник я не позволю надеть на себя и под дудочку петь не буду». Так или иначе, через два с небольшим года после трагедии в «Англетере» на Троицком мосту в Ленинграде с Кировым повстречался В.А. Мануйлов. Знакомы они были ещё по Баку. «Зашёл разговор о Есенине, – повествует Мануйлов, – Сергей Миронович очень тепло вспоминал своего тёзку и с горечью сказал, что, если бы тогда в начале сентября 1925 года удалось задержать Есенина и Софью Андреевну на два-три осенних месяца в Баку, может быть, декабрьской



катастрофы не случилось бы.

– Уж мы за ним доглядели бы! – сказал Сергей Миронович.

Однако судьба распорядилась иначе...»

Киров, искренне полагавший, что партийный догляд способствует плодотворному творческому процессу, не сумел доглядеть и за собой и сгинул, загадочно застреленный в коридоре Смольного дворца. Надо отдать ему должное, гибель Есенина была для него глубоко личной потерей. «Не удержался. Видать, разбился о камень чёрствых людских сердец», – с горечью откликнулся Киров на смерть поэта, по-своему истолковав метафорическое значение известной всем есенинской строки.

«Свет вечерний шафранного края» – увы, это был только поэтический мираж. Пытаясь приблизиться к нему, Есенин оставался всё так же бесконечно далёк от него. Спасительное бегство не состоялось. Да и никакая Персия спасти Есенина уже не могла. А он всё ещё надеялся «куда-нибудь уехать». «Живу в Мардакянах, – писал он из Баку Анне Берзинь, – но тянет дальше. Куда – сам не знаю. Если очутюсь, где-нибудь вроде Байкала, не удивляйтесь...» Но уехать от себя по-прежнему было некуда. «Он вернулся таким же, каким и уехал: усталым, нервным, крайне раздражённым», – вспоминала сестра Есенина Александра. Исход путешествия был уже предрешен.

Технический редактор: Ю.П. Шаталов
Дизайн и вёрстка: С.Е. Стефанова
Корректор: И.Е. Пекарская

Подписано в печать 22.10.2021.
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «Georgia». Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 8,26.
Заказ №278. Тираж 979 экз.
Отпечатано в типографии ООО «Минераловодская типография»,
г. Минеральные Воды, ул. Фрунзе, 33.
Тел.: 8 (87922) 7-67-17.

ISBN 978-5-905831-34-8

